

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ ШЕШОЛИН

— Трактат в форме акафиста —

1

Взбранной Воеводе, Победительная, Ты одна нас всех чита-
ешь и листаешь наши дни. Молимся Тебе, Молительница —
Дево, прости-испроси о нас у Сына, чтоб помиловал ны греш-
ных, если поздно, скажи — спи.

2

Радуйтесь, дѣти человеческие, читающие и пишущие: еще од-
на страница заполнена драгоценными письмами, стихами. Ра-
дуйся, словесность Российская: явлен еще один Твой пиита
истинный, хотя много ложных; Радуйся, мир — Твой вкуси-
тель родился, и рождество в стихах оставлено уже, и пос-
тавлена точка, — но страница не перевернута: вкушайте!
Отечество, Радуйся — родился поэт большой, смелый, — и
написал, и отдал, и уже погиб, ушел физически, в 34 года,
как и положено — величеством рано, но Радуйтесь — ро-
дился и явлен поэт. Великий поэт Шешолин.

3

Зачем поэту Шешолину гениальность — она уже присутству-
ет в его имени — Евгений, а Замысел не терпит тавтологии.
К тому же понятие гений ограничено во времени — где-то с
эпохи барокко: так в Питере молодые поэты еще курлычат "ге-
ний — не-гений"; так в Москве уже строже — "концептуа-
лист — не концептуалист" (хотя любой концептуализм зави-
сит от внешности, как энергетический вампир). Так и опе-
рируем: Бах — гений, Пушкин....: бах, бах... Но если ве-
личину измерения указывает Время — тогда вначале Бог, по-
том жизнь в слове и высота слова, и большее дело, чтобы в
конце, на Суд — принести свою степень отражения Неба. Но
поэт всегда списывает стих с неба, да разная степень ошиб-
ки. Мы же все — вольтметры-амперметры, только великий по-
эт — точнейший прибор, автономный как Ангел, но выше его —
и Хранителя всегда не справится: взмахнул ресницей, а че-
ловека уже нет. Но остались стихи, и жив поэт.

4

Великость — всегда степень, добавка Свыше, некий полукруг
египетского Анха, на конце луча: ✕. Степенность эта не за-
висит от Это (великая изба в поселке — сказать можно, но
смешно), степенность эта сверхлична — Град великий, река
Великая во Пскове, Великий Шелковый Путь. Там не мордашка,
там Лик глядится в степени — не о том ли помянут Баратын-
ский: "Дарование есть поручение, выполнить его надобно во
что бы то ни стало". Великий Творящий — вне эпох, но в ка-
дой: от шамана сквозь демиурга — по Благовестие в нынешний
криптохорсизм. Евгений Шешолин был бы величественным поэтом
во времена Баття и пирамид; Плотина и Альтамыры, Бозция и
Потопа, Конфуция и Бабы Снудской. Да пришлось выполнять по-
ручение в конце XX-го, в эпоху кремлевских гололобиков и не

рускоязычных генсеков, ментовских облав и перманентной разрухи всего, хамла перестроечного и застоя у стукачей. И он, Евгений Шешолин, неторопливо поглядывая на околевание своего века, выполняет домашнее задание по функции Света: фиксировал, наблюдая — распадается ли гриб — фотомиг, кто расскажет про процедуру грици? 0. Наблюдая совмещение тысячелетних концов — наблюдал Конечта. 0, неторопливый наблюдатель Конца Света, ты — велик, поэт.

5

Нежность, нежность — Господи, откуда в стихах Шешолина столько ности, прикровенной и явной, когда вокруг — фарца, санитары и ависты, и самость, и все будто бы строят, т.е. учат жить и указывают, сажают, сажают, и вваливаются с перегаром контролеры, и — повес и дележка. А поэт Шешолин вдруг:

...очнуться бы веселым маем
зеленой шишкой на сосне...

"Шишкой" ему захотелось, понимаете ли!.. Пионерская наивность? — ведь не мальчик, все видел, все распознал. В стихах же Шешолина тоянна доверчивость, доверие к иным душам — будто где-то уже встали?.. А нет рядом людей — так нежное доверие ко всему живому кошкам-собакам-птичкам-траве-деревьям. Доверчивость — определяя в отношении поэта Шешолина к миру. Какая наивность — не правда, это допустимо девятикласснику про шишку или собаку, где "взрослости стихов"? — но поэт не хочет прикрыться метафорой, защититься "хотя мог бы при своем версификаторском опыте, мелодике и технике. Здесь можно увидеть пример мужественности — когда биясь на поле поэт позволяет себе остаться мальчиком. Или душа и есть вечная досность? Уж мы-то знаем, как надо, как не надо, и поэт Шешолин э не принимая. Отрицал, отринул панибратство с дольным, ставя доль горизонт на попа (заставляя дольнее говеть попом у аналоя). Поэт эношески не соглашался надеть личину, все продолжал:

Мы ничего не понимаем,
но мы предчувствуем во сне...
Проснуться бы веселым маем
зеленой шишкой на сосне ...

О, нежность, о, доверчивость! — 1 мая его опускали в теплую землю... Теперь очнемся?!..

6

Судьба поэта Шешолина выявляет типические черты его поколения, далекого от кремлевско-вашигтонских декламаторов, от деклараторов при Союзе Писателей. Поэт-одиночка — он не соврал: есть и давит желый слезид печали и тоскливый свинец на душу человека, которому где дорога", и повсюду закрыто. Но еще в его стихах дышит мощный Родины: там коветная пыль и бурьяны, и подзолистая почва, и случаи неслучайны, как рытвины да оочины: сумел почувствовать по-ски тоску и даль, и высь — где "высветляется все", "в синей даль "в чернильнице небес", и — "прозрачна гора"; и черноту и "чернух выразил — "пыю я на родной помойке..." Да, не соврал. А в автоматическую кормушку Союза Писателей и не хотелось, и не пускали, где-то все же — литераторы... Изредка отпечатанную рукопись поэт высылал — кому считал получше. И хранил несколько газет, где па другую стихов когда-то напечатали: но потом плюнул — браво! отпечатал в комсомольской газете акростих Христос Воскрес ("Весеннее"

с громами и молниями ("кто такой, почему не заметили клерикальность?") излечился, как бы от простуды. Хотя для поэта напечататься — как сказать "мама, я живой" — так естественным стал для Шешолина вход в мир "Самиздата". Евгений будто нащупывает грань игра-жизнь-мираж. Что естественно для поколения, которое писало, пишет — но которого как бы нет. В нашем обществе мертвых душ полноценное оживление и освобождение от лжи, штампов, шор — происходит втайне, в подполе. И Евгений Шешолин был 10 лет соредактором самиздатовского альманаха. А поскольку полагал естественным для людей — стоять лицом к лицу, — для них распечатывал на машинке и свои стихи. С двух сторон на лист, с красивыми полями... для элегантности — или из-за нее. И дарил стихи щедрыми книгами — о, волшебство пост-Гуттенберговской эпохи великих строек — печатанье на машинке! О, совдеп — новый Энеолит. И снова отпечатывал, для ближних и дальних, то, что написало: по напряжению, тоске, серо-черной гамме одинокой и бродячей ночи, по закятности, дурным предчувствиям и туманному прозрению стихи поэта Евгения Шешолина выделяются как характернейшие для поколения, для времени, и на них можно ставить знак качества: "Писано под прессом", т.е. сделано в России.

...

7

Вопрос — когда Дух вселяется в плоть утробы? До того уже вился вокруг матери, когда и как? — если уже в матке эмбрион личности; из-за личности там уже движутся звезды, шьются пеленки или ризы, в смерть вырезаются детские садики и взрослые народы на полях, а старики шепчут навстречу — слава Богу?!.. Мы являемся в мир в стужке плоти вокруг вземлившейся души, — и нет неизбранных людей. Талант родителей, нации, младенца — видимо, в том, чтобы жизнь пошла максимально по функции неба, по заданности Свыше: если же общество бесталанно (как советское), то категория случайности возрастает, но возрастает и количество нелепых смертей — ибо ходят не своими путями — тогда быстренько души возвращаются наверх, — отсюда, во всяком случае. И если бездарность общества продолжается (а Силы Господни сверхэкономичны!), — тогда на такой социум свергается Гнев Божий. Вот и конец империи. Талант же младенца проявляется в точном знании — это мне, мне интересно, мне нужно; а это чужое, чужого не хочу. Звоночек души Шешолина рано отозвался на ветерок небесный, и мелодический звук уже не затихал. И если было тягостно — туда, к детскому осознанию, к мигу шага к Своему поэт всегда возвращался:

Высокое крыльцо мне не забыть вовек,
я счастлив, мне семь лет, я сам себя катаю, —
но что-то смутно помню, что-то знаю...

Так, функции неба соответствуя, Евгений Шешолин рано начал писать стихи, стихи — это божественное соответствие, в котором ответ о смысле жизни: для чего? Дальше — стремительный взлет духа, который, воспаряя, сначала осматривает слизь и дали и, где хочет, пребывает. А тело тянется за ним по географии, пешком и в поездах, и по-разному. Богочеловеческое возрастает в синеву, в высь — и жизнь его, поэта, — как лимонад в детстве, шибала в нос, до смешных слезинок-брызг — и до невестинского шампанского, когда сквозь пузырьочки мир поворачивается по кольцу Гармонии, и все вокруг эдакое... И дух посматривает, а рука запишет:

Мы выбирали жизнь, как выбирают шапку,
и как зверей себя насмешливо пасли...

Поэт Шешолин сделал выбор великий == страшный, судьбой мужа, вы
свою жизнь:

как шупает паук поверхность тонкой лапкой,
двоились в глубь души, пугались и росли...

Евгений принял свою жизнь, и всякую -- возлюбил. Стиха императри
Ахматова говаривала, что когда имевший теряет все, он еще 50 лет
вет, как прежде. Вот такая инерция духовного аристократа (м.б. от
жая иную, не био-графию) все время выпирала из поэта Шешолина, пр
вращая убогий быт в бытие, светом тихим освещая касательные его
вещи, субстанты. Так небесная функция благодарно помогала поэту,
ображая его и все вокруг, преображая -- и тем обязывая. Обязывая
Шешолин знал, или скорее чуял, поскольку радовался жить внутри жи
среди яблоневых веток, трав, друзей, женщин, среди прочего, вкуса
здесьним, люда труждающегося, трудящего, разного. Постоянно настро
ный на стих, поэт слушался ритма -- как одного из переводных знач
греческого слова Логос. Верный небу и на гноище -- что же еще ари
крату духа соответствует в совдепе?? -- поэт воспевал, напевал ж
какая-она-есть-ему. Хотел, конечно же, богемнее бы: но вторгалась
стема, где незаменимых нет, и не богема получалась, а скорее дно,
метка, -- однако и в самом низу социума поэту -- Шешолину было на
т.е. благодатно в киническом образе и в главном -- как на вершине
кто бы зрение у него по-младенчески перевернуто (м.б. единственно
вильное). Тут, отсылая себя к стихам поэта Шешолина, заметим: жи
и жизнь в слове у него неразлучны, и связь их органична, как при
естественна, как закон сообщающихся сосудов. Но надо читать стихи
чного великого поэта. Великого поэта Шешолина.

...

8

Евгений писал невеликие по размеру стихи, в основном -- как бы ст
достаточными и самсценными и одну-две фразы: не занимая времени
беседника. Предполагая в нем иные таланты и уважительно оставля
время для понимания, в следующем за стихом молчании предполагая
должение его, но в ином качестве. Отчасти к слову, можно сказать
чрезвычайном демократизме Е. Шешолина -- человека, принимавшего
чужое полностью, без оговорок (в старину это называли от лат. "пон
мать", *intelligere* -- интеллигентностью). Поэт Шешолин был не мен
ший эгоцентризм, чем иной поэт сегодняшний, но -- но он навстречу
боялся с готовностью слушать-слышать, что всегда редкость, а ныне
бенно: ныне не только слышат только себя, но ничего вообще, от
души. Да, так поэт Шешолин был мастером малых стихотворных форм,
вот один его миньон, миньдобр:

Евразаровская церковь!
Всего шесть лет назад
я лазал по твоим развалинам,
как зверек...

И достаточно для пространства...

...

9

Счень рано поэт запретил себе неправду в жизни и в стихе -- отс
отчасти аскетичность метафоры, эпитета, уход от эффекта поверхнос
к глубине. Так однажды сказав правду -- получилось! -- он ощутил
копчатие совести. И уже не мог без правды, сделав ее допингом са
хов, всего творчества. Оттого весь творческий путь его -- путь т

ности, по цеховой принадлежности. Так Пушкин, Гоголь со школьной скамьи уже не фамилии, а прозвания ("Пушкин сделает..."). Так понимается для защиты ребенка имя-обманка — Неждан, Незвал, а в мире словесности — Шелошик. Ибо в словесности дуализм, напярт черно-белого чрезвычайен. Возможно, второе имя позволяет до срока ускользнуть из лап? Во всяком случае, душа и второе имя связаны проекцией: "...и при этом новые имена могут быть настолько сильны, что оттесняют в сознании как самого переименованного, так и окружающего его основное имя на второй план" (П. Флоренский).

12

В имени Шелошик слышится сразу и шорох, и шелуха, не-прозрачность внешнего, и шалаш, и шло-прошло, и шельф (нефтяной), и англ. Shall и шелушиться, и шалость, и шолом! и шипенье листвы... времен, пихталы... Ласковый русский суффикс подчеркивает — свой, в нем сродность языковая и свойскость спутника; шипением брати включается шик эмира, шейха (чтобы потом Шелошик написал "Северный диван"); шик в имени Шелошика — есть и завершенность его строфы, его (уже) судьбы писателя, его бедных роскошных буден. Имя Шелошик шебуршит из себя всю его творческую и иную биографию, придавая центробежность: некоторую сиротность, юродинку, братскость — до похода в разведку. Называя поэта — Шелошик, вдруг апокрифическим знанием нем приходит имя — Евгений, и отчество — Петрович, — Благородный Апостолович Шелошик — уже всё написано тобой!

13

...свитер, халупа, сад у церкви, речка Пскова внизу изгибом как Сороть, преданные и как он голодные пси-кошки, о них голова полна и в другом городе ("заедешь, покорми, а?"), дочь Ольга, где-то в Резекне мама, еестра, и — денег нигде, ...а вот новый журнал, глянь, Кибиров выдал, ...в этом магазине молока нет, ...чай есть — зеленый, будете?... а вот у Георгия Иванова... и — пора завязывать О, Русь — китайскость окраины... Прости Шелошик.

14

Цветовая гамма стихов поэта Шешолина неброская — рыжие кочки, серый дождь, чахлая осина, телега с картошкой по грязи, — такая русская незвучность, по которой только издали можно тосковать, ведыхая... И только корень-укорененность, родимость — находит в этой природе северной некую абстрактность, совпадающую... С чем? м.б. с преданностью, привязкой сердечной: тогда пейзаж пресуществляется в состояние. Колорит стихов Шешолина — колорит русской классической поэзии, палитра его — палитра бесконечных оттенков надежды — зеленого, веры — синего, любви — золотого и белого.

Это строгое небо не сразу
доверяет свое волшебство,
и чужому счастливому глазу
никогда не увидеть его.

Он прав, только русский несчастный глаз знает сладкую "трагедь" годовых быстрых умираний лета, вещей напор зимы и слякоть, слякоть конечности вообще. Не значит, что Шешолин не употребляет звонкого интенсивного цвета, но — всегда изнутри выходя к цвету, общей тональностью состояния-переживания-мига-самого-стиха приглушает удар, оставляя — изысканность полутонов.

...с непроходимых грядок
самозабвенно пахнут флоксы...

Даже в ориенталистских стихах, где, казалось бы, уместно экзотическое буйство цвета, Шешолин насыщает стихи эмалями, но опять в гармонии приглушает, как бы аурой воздуха скрадывает "черезчур" -- случайного взгляда -- на чужой пейзаж:

В мятную ночь Самарканда засну под урюком...
...я засыпаю с пылью бирюзовой на пальцах...

Так русские художники-академисты живописали Среднюю Азию, или Италию, или Палестину: исходя из золотого сечения местного спектра, обняв участием русского характера. Примета стихов Шешолина -- еще и сумеречность: от сумерек общества -- и как следствие медитативности его, личного стиха. Поэт обилён вечерними, закатными, ночными пейзажами-состояниями. Воздух стиховых полутонов его -- в медленном перетекании, едва заметном передвижении, но постоянном: такой полусвет-полусумрак позволяет поэту придать, выразить, рассмотреть свое осознание -- мистичности бытия:

В косых лучах таинственного света
пылистым снегом расцветает сад...

Мистичности, поскольку "мир объективно мистичен" (о.Сергий Булгаков). Поэт Евгений Шешолин -- очень тонкий и очень уверенный мастер русского пейзажа души.

15

Когда его убили -- в блокноте поэта не нашлись, не попадались стихи: последние год-полтора все доделывал, шлифовал старые, нового почти не писал -- нивелировал, ждал?... Блокноты... Бесконечные не понять-по-какой системе избранные списки футболистов, литераторов, клубов НХЛ, прочих команд. Его давнишняя привычка -- с лекций по истмату, с распределения в деревню: когда, чтобы не свихнуться, денёк выписывал, к примеру, сколько стали выплавляла вчера Бельгия, Болгария, Бразилия (смотря какой справочник-газета попадет) потом под чертой складывалось -- во сколько!! И денёк помирал со смеху, тихо помирал со смеху. Чтобы не свихнуться.

Плачет взаперти свинья,
кто-то ночью видел волка,
из соседнего поселка
переехала семья...

Идиотство будничной советской жизни повсюду, и абсурднее всех абсурдизмов. И эти будни поэт, скорее невольно, отобразил. Вернее, сказался ими:

...потом, глотая черный ветер,
я с радостью отметил,
что, -- чуть приблизился, --
опять погас фонарь.

Правдоподобно далеко
идти мне обло, --
подсказали:
шофер, зарезанный женой
не до конца (она -- в тюрьме),
как будто, может сдать жилье...

Оскорбленная душа недоумевает, уязвлена несправедливостью, как льник наказанием: за что? Поэт точно с этой ноты начинается одно стихотворений:

"Как попал сюда?... Зачем здесь живу?...?!"...

Одиноким человек, иногда забредаящий, к кому можно, посмотреть ТВ матч, и извинялся, и в гостях разговаривался, и где-то в ночи уходил один. "Правдоподобно далеко идти мне было".

...там дом стоял торжественно последним,
как будто я письмо себе писал.

Порою -- больше переводил, стихи не часто приходили, и болел за надцев -- наблюдая за Концом Света.

16

Неоклассицистские по форме, стихи Е. Шешолина часто включают, ка- некие опоры, и народные присказки, поговорки; чаще всего в периф- зе:

Вода что с гуся,
сошли обиды...

или:

.. Кто по дрова, а я -- в сосновый лес...

еще:

...И двор в траве, -- и на траве дрова,
и тихие часы неслышно били...

Таковые перифразы характерны для поэта и в его идиостиле примеча- тельны; как опорные столбы -- указывают на основу, базовую и глущ- кую, его поэтики. Другим характерным свойством или приметей его э- тики является разговорность: поэт строит контекст на разговорных приемах -- с полупривычно часто начиная стих, часто обращаясь напре- к некоему, с адресованием или без, собеседнику, часто настолько ностно, что сливаются оппонент и автор. Стихи Шешолина -- "речев- они строятся речью, они говорят поэтом -- наверное, откуда его ст- хи, столь неявно украшенные, -- очень эмоциональны глубоким переж- ганием: они -- ветер чувства где-то, между строк; возможно, поэзия и есть этот ветер, а не сами строчки?! Поэт не гонится за новыми словечками, а и вовсе избегает их, всяческих англисаксизмов -- поэтому его поэтика еще и еще в русле отечественной классической традиции.

Сильно образы его стихов взяты поэтом из своего времени: он пейза- жист души, но через личность -- и пейзажист общества. Здесь Шешо- не принимает квази-символики социума, но однако изымает, отображ- ет ее, как поэт нон-конформист. В следующем стихотворном пейзаже- змышлении мы видим и привычные соотуленные фигуры у магазина, и туи-идолы, везде по стране расставленные, и дает точный адрес сво- проживания, будто приглашая в гости, и упоминает ужас-казенного- ного, оумажного бюрократизма XX века, когда "без бумажки ты бунд- и пр-чезвечески вскрикивает, будто во сне -- не виноват! По сти- була-презентации поэта Е. Шешолина -- неклассическая, в ней есть архетипы жизни личности, языка, речи, -- и общества России XX века. Стихи Шешолина -- классика XX века, России.

Все та же кормушка, все та же аллея,
родные домишки, -- кому рассказать!
По вечеру тихо плывет сакалея,
и тени пришельцев по клумбе скользят.

Ко мне -- за сарай и немного пройдёте
Тропой Металлистов, над сточной, рекой,
И лысый в-цветном, голубином помете
Все так же за ветками машет рукой.

Опять не попасть на арену Икару!.....
Я, видимо, крайний! -- На то и гожусь...
Я брошусь под первый попавший "Икарус",
в трех проклятых улицах я заблужусь!

Эпоха бесстыдно латает заставки.
В кровавые жмурки играет плакат.
Я выйду по нежно-сиреневой справке;
и надпись по золоту: "Не виноват!".

Высота души возвышает низменные стаффажи, делает их загадочными,
таинственными -- и заинтересовывается читатель, видя знакомое,
чуя -- иное, для себя новое(или о себе). Надпись по золоту.

17

Жил Евгений -- праздничной елкой в игрушках, бусах-лампочках, сле-
дя Радости Жениха в чертоге брачном, -- хотя Вечный День прихо-
дился страшными снами, но: были и "великолепное презрение", и
азарт ежедневности, и гордость в нищете, и цветы стихов над вы-
гребной ямой мира мирского. Денёской день и ночную ночь он таки
одел, и одение получалось стихами. Делом, словом и отношением по-
эт Е. Шешолин хрестоматийно безукоризнен: он доверял стихи лю-
дям, как прихожане доверяются священнику; а жизнь от главного де-
ла -- вроде бы бездельную, творил как литургию сам. Он долго вы-
бирал, и печатал стихи на машинке(игра в книжку, в выход в свет на-
бора), размещал -- иногда двустишие -- на стреницу, в центре; по-
том печатал с обратной стороны, для возможного шивания... Он
знал себе цену, но как бы давно засыл о ней.

18

Поэт никогда не судил, и к себе находил довод против, исключая
агрессию. Агрессивность для Шешолина была от нежити, не от чело-
века. Но жил Евгений в самом агрессивном в истории человечества
обществе, и -- был вырощен убойцами(случайными?), известными ор-
ганам "правосудия", но ненаказанными(закономерность!), вырощен
из сына квартиры незнакомых ему людей, среди бела дня, в центре
города даутовпился... Против насилия выступал всегда -- с ним по-
шитоелось. Поэт Шешолик был всегда несогласен с "бей!"...

19

Конечно, не для счастья(А.М.Пешков) -- для претерпевания невзгод,
преодоления пути рождены мы все здесь, человеки. Иначе как осре-
тет Адам новое качество? Русское счастье в узнавании: "наши", "а
дома лучше", "пришли" -- в эзотричном конечном итоге, русское
счастье -- в ожидании, в "вот-вот", в Надежде, и -- где-то там на
небе. А все пути у нас ведут не дыбу, на пусть маленькую голгоф-
ку, но каждому. Вероятно, на Небе в XX веке открыли вторые вра-
та -- слишком много нас, русских, сразу Туда приперлось; открыли
вторые врата, уж конечно, по просьбе Андрея, а ключник для наших
конечно Павел. Именно как вехи на пути наверх выделяет своих ве-
ликих и русская поэзия: они -- верстовые столбы совести. Не ля-
рус, но: не побояться сказать -- шишка, лужа; не испугаться ис-
пуга, и восхищению удивиться, и крикнуть сразу обо всем, и куда

глаза глядят бежать, безоглядно, и не выпускать, сублимируя, пар,
но — мычать: больно, болит если, — или — труба! если худо. Вели-
му поэту при этом из ремесла вырасти метром — душно надо, хотя бы
для звезд холодных: а уже метром убоиться снова себя, Бога, плохих
строки, ошибки.... Ему приснился сон, что он моет крупную картошку,
перебирает, трет руками, и картошка, белая, поворачивается в тем-
ной воде....

20

Стихотворение Е.Шешолина "Перегон" в названии как бы предлагает чи-
тателю фантасму произведения: вот едет человек в поезде, смотрит в
окно вагона и впечатления живописует. Тем уже автор передвигает чита-
теля на свое место, в первой строке будто передергивая весь состав.
И мы уже над сюжетом, внутри, и мы смотрим на свою страну, нет —
цивилизацию, и оторопь берет — мы где?, и страшно за детей:

...Уже пошли какие-то районы,
где смерть ночует в блоковых бараках
египетских кубических заводов,
и под угольником строятся дома,
и окна загораются в затылок —
арифметическое небо окон!...
Что, город, борется в тебе, таится,
какой мутант из недр твоих грянет?

Узнаете? — свой микрорайон, со всеми примечательностями: здравствуй,
страна родная! Там, за окном — метастаза, некий пророческий Черно-
быльский предел, конкретное до знакомости и сжатое до знаковости со-
общение. А человек не хочет видеть страшное, он закрывается; он за-
крывает глаза для самосохранения, и изначально, заранее, хочет прити-
снуть: нет-нет, — и страна большая, и природа... Бессознательно
автор тоже об этом:

А утром выплыла другая местность, —
богатая травой, ольхой, орешком,
где сосновой пылью бездорожья
покрыта вереница деревень....

Смотрите, как точно — русский язык предполагает для своего, корен-
ного — лицо, имя: все названо, осустроено за тысяч лет, все ласково:
густая травой, ольхой, орешком...., вроде бы близкие слова, понятия,
а в той деревне это разные страны, и поэту хорошо их называть, до-
кументально хорошо рассмотреть на среднерусские исконные и дымя-
щиеся. Поэт записывает в незыблемой пейзаже, филологическом тоне:

...по ежевичной выжженной тропинке
к пруду, где спят янтарные язи...

...и твердый, сочный, зрелый орех...

Откуда это знание своей земли — от языка, или...?

Как будто никого из Подмосковья
я из родных не знаю, но родное
я проезжал. Ты все еще похожа,
лубочная, резная колыбель.

Колыбель. Кого, или — чья? Этнуса, наверное, или наших о нем — о
нем, представлений. И вздох — что-то осталось еще... Но дальше за-
мелькало в ряд:

А за шоссе, за дымом, за Рязанью,
за проводами -- станции редуют,
редуют и леса, и вечерами
уже зовет глубокая полынь.

Автор мастерски придал законченность вечернему пейзажу, и поведал о тайне, -- и сквознячок из тамбура: куда едем? -- на восток.

Уже чумазей дети на перронах,
уже летят мордовские названия,
цыгане все пьяней, аляповатей,
и судьбы вязче, вязче и темней.

Опять бедой несчастливых народов отдельно взятой отчизны задуло, а уж отдельных-то человек... Поволжье. Татарщина. Азия... Включаются в архетипическую работу:

Татарщина! -- Бескрайни дальше степи, --
распахнутый, горячий материк
сурков, у насыпи оцепеневших,
коней, хмелеющих, как в центре круга,
шершавого, безжалостного ветра,
озер соленых и далеких гор.

Поскольку перед глазами пейзаж все ниже и скудоумней, то так же и в стихе Шешолина -- заработало пространство, где виден ветер и открыт горизонт. Азия. втягивает, она интернационализма не признает: ты только чей-то, только личность, иначе -- в пыль... И поэт ухватывается -- за себя: Азия грядет! -- но сходу, кроме слова Россия, не за что ухватить, не за что держаться... Хотя, вследствие этого-то, зря и пугался! -- и, успокоившись, поэт определяет -- государем -- границу отчины (или маршрут поезда) -- где-то по Казахстану, по касательной к Средней Азии...

А там, где край, размытый край России,
пространство начинает рассыпаться
в сухую сердцевину континента,
и дыни начинают созреть.

Появились ласковые радостные дыни -- как обживаемость: тоже можно жить, хоть и по-другому: "эври кантри хэз итс кастэмз", т.е. только по-азиатски можно.

Еще здесь можно, все же, потеряться,
родиться можно, а потом забыться,
или пойти до синих-синих гор.

Выбор ограничен, но ведь -- Азия. Поэт предлагает пойти?.. То есть, родиться и забыться -- каждому, такой там порядок, а поэту, следовательно -- и читателю, и, наверное, -- культуре, -- дальше?! Что же это стихотворение есть -- перегон в стих пространства? Но жесткий, как сцепка, стих; и время незаметно-ощутимо -- довлеет над ним. "Перегон" -- это скорее повторение первых названий Адама, чтобы из хаоса наших дней вычленил первоосновное, и увидит порядок, все-таки космос, из словесной мглы перегон к светлому порядку стихов, к гармонии мироустройства от сиюминутной и современной чепухи, "Перегон" -- это скорее перегонка жизненной браги в спирт -- семантический самогон -- и его поглощение ритмическое, и наверное -- такой поэтический дурман, кайф без продоху, с выходом в стих, и до следующего стихотворения мрак версификаторского похмелья, и усталость, и обгон-перегон себя, и возгонка в иное качество, -- как бы став чуточку другим, умыть лицо, встряхнуться -- уже!.. "До синих-синих гор"! Стихотворение Е.Шешолина "Перегон" -- являет нам пример эпического осознания конца XX века: наверное, из таких стихоявлений складывался эпос; это стихо-

творение -- одно из главных эпических достижений конца века, или м.б. -- предложение: поспорить об эпике.

21

У стиховой стихии сколько природ? -- одна, точно, электроразрядная, когда искрит в толкании слова -- слова вскипают, вот уже и слова незнакомцами, другие: наверное, потому же, что лучшие в мире повара -- мужчины, они же в основном -- поэты. Буквы-звуки-смыслы варятся -- и готово: Св. Дары в потире; луковый супчик; мясо. Еще одна стиховая природа, другая -- когда не корень-эпитет-метафора работают, но постоянно задувает между строк ветром дыма, ветром света, ветром Духа. Дыхание между строк -- м.б., главное в поэзии, -- примета стихов. Е.Шешолина: взволнованное, чуткое, трудное, всякое, -- дыхание высокого. В стихах Шешолина -- большое дыхание великого.

22

Семантические опоры поэтики Шешолина -- есть значения органически внутренние, традиционные до Средневековья... -- Трава, трава сухая

...под гребенку острижено поле
и последний сорняк шелестит, --

говорит о себе поэт в стихотворении "Письмо из котельной". Опорам становятся и слова домашние, дорогие душе -- окно, душистый горошек и опять же присказки мудрые, сразу притягивающие самочувствие души и частые, почти родственные сравнения:

Жидкий лен, как волосы, от пота
слипшиеся -- тонок, непричесан.

И активно в поэтике автора "работает" фольклор -- сказочностью, детским пульсом:

...найдется заповедная опушка,
и жизнь моя, как спящая царевна...

Так, осознанно скрытно, радуясь добрым хитростям, поэт потрудился мудрое дело Веры-Надежды-Любви. Если же пишет город, то нету урбанизации, кроме подавляющей, где "смерть ночует в блоковых бараках". Более явны семантические слои в ориенталистских стихах Шешолина -- его поэзия хорошо ориентирована на полюсы внутри мифа, стихи пытаются подать Восток изнутри. Например, восклицая -- "О, Пир!" -- Шешолина напоминает об учителе в сюрреализме, говоря о "когтях Турка" -- намекает на армянскую мифологию. Порой его Восток -- не желает расшифровываться, апеллируя к читательскому знанию:

...Прячут буквы разноцветный семигранник.

Моменты абсурда у Шешолина от жизни -- и ближе всего к парадоксам долгих бесед на Востоке, совсем не к абсурдизму. Главное же, наверное, что поражает в строках поэта, это его небожительство традиционных эпитетов, оборотов (отсюда неброскость на первый взгляд). Но поэт уходит от банальности, доводя привычные слова -- почти термины поэтики вообще -- до абсолюта, приращивая, прививая свою поэтику к Поэтике мира и истории литературы. Но вот как ему это удастся? -- его чуть-чуть доводки и есть искусство. Но как? Поэтом из множества песен и од Конфуций составил "Шицзин" -- канон китайцев. Но -- как?! Тайна таланта.

23

Звезда зеленая мерцает,
и стынет глаз, и ноет кровь,

и сердце что-то вспоминает,
но я не понимаю слов.

Деревья хищные крылаты.
Жук отдыхает на руке.
Я говорил с тобой когда-то
на позабытом языке..

А в стихотворении "Воспоминание о Ленинграде" поэт Шешолин демонстрирует как бы швы своего приращения к Древу поэзии классической, напр. -- Серебряного Века, но его швы -- приметы последней четверти XX-го, а не начала:

Тот темный дом, нетронутый войной,
я вижу, как за рамою двойной.

И медный конь, так благородно ржавый,
и объяснения первые с державой.

И цветники парадных незабытые,
и ангелы взмывают недобитые.

И синей паутиной рвется след
моих болгарских сладких сигарет.

...

24

У Гете есть восточный диван, который назван, из понимания неизбежности стилизации и неидентичности мышления -- "Западно-восточный диван". Шешолин тоже пишет восточный диван, со всеми премудростями разнообразных форм -- где газели и рубай, мухаммасы и мусаддасы месневи и проч. Первоначальное название Шешолина -- "Первый Северный Диван" -- поэт знал, что диванов нынче не пишут, или надеялся на "Второй"? Потом, сознавая: ну что Северу персидский дым сирени или шаг верблюда? -- изящно, с кокетством шейха, назвал просто "Северный диван". Конечно же, Восток есть Восток, но кроме индивидуального, "шешолинского" интереса -- что искал поэт, когда переводил и стилизовал, и перекладывал? И что нашел насущного? -- ответ появляется, если заметить внимание Е. Шешолина и к поэтическим формам Запада: он также любил писать (и блестяще получалось!) сонеты и рондо. Если вспомнить многочисленные полемики наших литераторов, филологов и лингвистов (пока подрасталось): куда-де гребет-грядет наш язык, и что будет вскорости ориентиром в версификационном море, а волны авангарда, размывая все категорические категории, вновь обостряли проблему: мы увидим, что поэт Евгений Шешолин определил своим творчеством -- точкой отсчета в этот раз не является кто-то (А. Пушкин, напр.) -- проблема глобальна! -- но: маяком будет некое исключительное достижение поэтов, переживших все катастрофы -- канон Поэт Шешолин нашел модуль, или основу, твердь в бурю -- в андеграунде, а проще -- в подполье, в-столописании -- времени хватило. Канон -- это *Future in the Past*, Будущее-в-Прошедшем мировой словесности, ибо лодку спасет не весло, но киль: канон. Кроме художественного значения самого "Северного дивана" -- шешолинская попытка культивировать канон (находя полную свободу внутри него) -- Знамение для поколения поэта и впереди ближайших, когда -- не "Красота спасет мир", но "Осознание Красоты" (Н.К.Рерих), и когда не самоутверждение, а только высота вдохновит авторов. Сегодня многие молодые (и не-) авторы как ругательством пользуются сравнением с молитвой; мол, не стихи, а молитва какая-то. Ничего, как правило (о, долги наши!), не зная об этой драгоценности Рода Человеческого. Поэт Е.Шешолин, наоборот -- под влиянием ли Востока, статей А.А.Аверинцева или допрежь них, или -- псковской Византии, -- или сказалося

воспитание матери, верной католички, — Шешолин пробует писать "Подражание заамвонной молитве" — мусаллас; пробовать хотел и сонет — но "куда мне!", отложил, убоявшись немоги современной. Так мало-помалу известный поэт не заметил, как верблужью лепешку, сползая с членов СП друг о друге, но — свой ответ, а значит и от лица поколения (SIC!) выдал — о путях литературы, выдал стихами, жизнью.

...

25

Посмотрим, как нашему современнику удалось современность же сделать кровью в старинной газели:

Где-то траву заматают метели.
Где-то в холодных бараках запели.

В сердце случайно вонзилась заноза...
Мельче и вправду, но больше на деле.

Синее око холодного неба.
Мы у окна постоять захотели.

Наша надежда — ослепший котенок
на многолюдной широкой панели.

Видишь: стрекозы с обрубками радуг
от колеса расползлись еле-еле...

Вот пробегает молоденький трактор.
Вот человек замерзает в шинели.

Это, мол, все — под надежной защитой.
Это, мол, просто искусство газели.

...

26

Поэту Шешолину "удалось" помянуть другой газелью такого же "проблемного" поэта Игоря Бухбиндера (газель с редифом "он ушел"), и оплакать друзей и свое одиночество:

Друзья в тюрьме, им холодней,
за них свечу зажги скорей...

...Не новый спор с законным веком,
но нет хороших новостей.

И незаметно как бы из сегодняшнего хаоса мира и биографий поэт вопевает и саму газель. И — кланяясь канону, поэт величественно отступает — за всех товарищей — всем отечески-заботливым жандармам:

Легкокрылого поэта может быть уже за это
принимают за солдата... До чего мы так докатимся

А какой восхитительный темпераментный шаг — и ритм — и дых — в газели "Подражание Мир Таки Миру"! — за такой метр братья признали своим издали, а женщина после решает оставить дите, на память... Нет, рационально не понять, как получается стихотворение у поэта, циклы их, и жизнь. Можно только читать, упиваться.

...

27

А вот образец дружеской лирики поэта Шешолина, стихотворение адресованное

вано армянскому товарищу, с которым Шешолик студиязначал в Питере:

С.П.

Он командовать пехотой
мог бы у царя Тиграна,
он бы мог миниатюру
алой кровью расписать;
он достоин был погибнуть
в ассирийских жарких травах!...
Где он, юноша печальный
из общаги на Лесном?

(как после звонкого удара киноварью — чистый красный цвет, поэт из истории и географии, из экзотики ввернул нас — сюда!)

Где ты, чуткий, будто тополь,
и по-львиному ленивый
юноша тысячелетний
из страны сторожевой?
Джинсы шли тебе не хуже,
чем кольчуга перед битвой;
как-то с веком ты воюешь,
мой далекий Сурик-джан?

(«Юноша тысячелетний»! — поэт так легко, непринужденно говорит об одном из —мы, одном из нас: одновременно происходящем из Урарту, из общаги, из Арм.ССР. Рядом поэт намекает на поколенческий знак, в нашей стране это предмет одежды, — в нач. 70-х редкие джинсы — как пароль, рок-н-ролл запрещен, и тут поэт очень точен, вспоминая. Неважно, что кольчуга сверху на теле, джинсы снизу: это улыбка художника, воющего с веком. Нынче глупые запреты совдепа почти неясны, забываются — но придут другие?!)

Я сегодня брел по карте
наугад усталым взглядом
и оранжевым нагорьем
память нежную обжег.
Я сегодня был настроен
как всегда, но в большей мере,
и о времени в раздумьях
ты мне вспомнился. Прости.

(Деликатность, живопись, метафизика, еще... — Лицей... 19 октября..

28

После чтения стихов на вечере во Дворце Литераторов на Войкова (за 1,5 месяца до гибели Е.Ш.), за стаканом один слушатель, тусовщик-брат, говорил, что никогда не слышал, чтобы читали стихи, как Женя. Шешолин читал, выпирая не слова, а ритм: но окончания строк продлевал, будто где-то в редких прогонах гулко-эхо, отдельным коридором. Ощущение большого, мыкающего, неторопливого. Другой «брат» о чтении Шешолина говорил: «издалека будто великан в соседней зале ходит, задевая высокий потолок, в сумраке бубня-напевая: бу-бу-ухбу». На том единственном «дворцовом» вечере Шешолин половину своего времени посвятил не своим стихам, а товарищам по Самиздату, уже почивших. Нет, не свои стихи в свой вечер, но других, что вдалеке, не во дворцах, и, м.б. поставили на себе крест...

29

Почему Е. Шешолин подолгу не писал стихов? Такое уж строение души, а кроме того — так Йусуф бы наверное ответил Йакубу на укор, почему не пишет: показываю тысячи листков, где писалось, но буквы исчезли, осталась Басмала. Быть может, так суфии гордились омытыми от букв

страницами! Да что Яков с Иосифом, м.б. поэт осознавал, что основано уже для "Оправдания" — хватит... или устал, или — собор камни?!... Осталась дочь Ольга, стихи. Так и не увидел ни разу своих стихов в книжке... Когда-нибудь на Руси будет стоять, будет храм, где в образах — поэты: Даниил Заточник, Сильвестр Медведев, Карион Истомина, Осип Мандельштам, Евгений Шешолин... Потому Русь — материк поэзии сказанной и смолчавшей по-исихастски: тогда Свет(Покой...). Отец Сергей Булгаков указал, что большинство прагматиков — анонимно, по ним есть праздник всех — Всех Святых... Скорее есть покаяние. Пожалуй, что так — помани, Господи.

...

30

Многочисленные "Памятники" у всех поэтов, может быть эти своеобразные Басмалы, Славословия Всевышнему = Господи Помилуй в стихах — есть отчеты о проделанной работе и подчеркнутое автором кредо — смысле поэтической программы? Что за стихотворение у Е. Шешолина можно назвать "Памятником"? Пожалуй, посвященное человеку на рубеже Азии, конечно поэту и — монаху. Памятник Поэту.

НАРЕКАЦИ

Как осенью томится спелый плод,
так он, собой измучен, наконец
еще один неутоленный вздох
не выдохнув, поймав почти руками,
так бережно, как полную воды
большую чашу, через сад понес,
чтоб вылить в келье на страницу все,
что он так долго чувствовал. Теперь
уже не сможет не услышать Бог
его мольбы, и чудо Гаваона
Он повторит, и будет мир спасен!...

Пуста наполовину, но уже
чиста, как свет, едина, будто вздох,
испив бессмертье, новая страница
пред ним легла, и, утомленный, он
откинулся, забылся и услышал
уютную, благую тишину:
спускались сумерки, и синий воздух
застыл, смущенный в маленьком окне,
и кто-то разговаривал так тихо
внутри него, как будто разбудить
его боялся, и жестокий мир
был нежен, будто колыбель ребенка....

Он спал легко, доверчиво и долго.

...

31

На границе Азии и Европы, в Астрахани родился Велимир Хлебников великий, в глубь языка нырнувший, но изнутри славянства вынырнувший — азиатом, Велимир подчеркнул вектор русских, ему, над историей взлетевшему, заметный, нам же, м.б., по контурным картам школьных заданий поданный в намеке. Движение русского искусства XX века разделено — и вбирается, впитывается азийский воздух (пунктир: "Бубновый Валет", Ксения Некрасова, этапы, эвакуация, т.д.). Давняя спираль этногенеза вост. славян раскручивается — от Вислы на Балканы от Адриатики в Поднепровье, через Ополье и Соловки, во льды упершись по Уралу в Бухару, от Смоленска в Петропавловск, — подобно спирали циклонов-антициклонов, не исключая малых турбуленций. Так движение

ност. славян предполагалось, наверное, сразу как духовное -- на Вос-
ток, еще в зачатке, до слова Русь. Чтобы потом иже с Русью и осталь-
ные... Видимо, и татаро-монголы -- мистические совершенно -- пришли
именно чтобы мы и не дергались: такова судьба. Чтобы потом привычной
было (с тугриками по степи -- с кумысом, по тайге с пицалью, с балан-
дой в лагерях).

Некоторые поэты нынче оказываются в Штатах -- и доказывают инерцию:
проскочили с разгона сквозь Аляску, -- но это ошибка, братцы. Наш са-
мый русский Велимир -- крик славянизма при совокуплении Азии с Евро-
пой, -- он же и указка нам. Нынче конец века. Что же видим?

Вот поэт Иван Жданов (его стихи ценил Е.Ш.) с Алтая едет в Москву.

Вачем художественности ехать в Москву, какой уж там Рим!! Может, гла-
вное -- по пути Е.Шешолина -- на Восток, "до синих-синих гор"? Шело-
шик очень послушен небу! Пожалуй, взволнованным дыханьем и осознан-
ной попыткой реанимировать (нет -- возродить!), продолжить, вскульти-
вировать канон, -- поэт Шешолин намекает, что XXI век, если он будет,
будет Продолжением, или -- в словесности -- веком Сверхканона?! По-
эт Е.Шешолин был воплощенным размышлительным потоком, в гармоническо-
м единстве слова-дела, вне времени: им Небесное Литературоведение раз-
мышляло о путях российского стихосложения, как следствие или резюме.
его стихи явились в тишайшей паузе Литературы, чтобы заметили, по-
примете, кто пролетел Тихий... Может, оттого и не напечататься ему
было... Хотя нет, не потому, не только потому...

...

32

Если совместить оси различных координат, например -- географию сти-
хов, плюс интерес к старинным каноническим формам стихов + геогра-
фию жизни поэта (родился, жил, путешествовал), то занятная картина
получается:

-- С --

китэ

газели

рубай

х а д ж у

ю й - с и н ь

Самарканд

тарджибанды

мухалласы

мусаддасы

Сусамыр

мухаммасы

Ферганская долина

Пиндунда

Армения

Эчмиадзин

Х у д ж а н д и

Г а л и б

Х а с и з

- В -

-- Ю --

звезды

Питер

рондо

сонеты

Краслава Псков Москва

верлибры свободники

- В - Резекне назирэ перетон

переводы переложения

Феодосия

Бахчисарай

стихи

Эта графика, ни в коей мере не претендующая на..., это не символ, не
"Символ Веры". Получился просто нероглиф жизни-творчества поэта Евге-
ния Шешолина. Нероглиф будто бы искусственный.

Крест и Полумесяц, рядом, указывая на дружбу, не довлея друг над дру-
гом.

Похоже на Крест, влекущийся парусом на Восток; если посмотреть с Вос-
тока, то похоже на лодку, в которой сидит современный русский поэт,
"западным образованием" (Шелосик сидит); если с Запада посмотреть, то
под крышкой, щитом, зонтиком, колпаком(!) сидим.

Но скорее всего, это Крест и Полумесяц санитарные, и все вместе эмблема донорского значка. Да, поэт Евгений Шешолин отдал уже свою кровь — российской словесности, крест и полумесяц можно обрисовать каплей.

Нежданно-негаданно там подобтели
и по бездорожью вернулись ко мне
те нищие, быстрые, наши недели,
и екает яркое солнце в окне.

И солнца в окне золотая ресница,
и комнат вечерних последняя тишь,
и ты предо мной, как тревожная птица,
глазами сверкаешь, словами дрожишь.

Есть поэты обильные, есть редко пишущие, но в конце, с книжкой в руке; на Суд — всего несколько стихотворений, наверное, остается; мы знаем наизусть, из всей поэзии — по чуть-чуть. Поэт Шешолин полагал самостоятельную жизнь стихов после родов и старался снарядить в путь основательно. Здесь влияет и взаимоотношение его со Временем: каждый миг равен всей жизни, каждый стих — последний. Поэтому до конца художественного продукта до качественного абсолюта естественно ли стихи дальше живут в Абсолютном Времени. Метафизика определяет многим пунктам поэтику Е.Шешолина. В век же диалектики хочется вылить метафизический идеал, и это, ниже приводящееся, стихотворение программно для поэта (в одной дарственной рукописи он пометил его корнем чистотела, оранжевым цветом). Возможно, сам поэт именно это стихотворение посчитал бы за один из "Памятников" своему творчеству.

Не помню, где вдвоем с собой мы были;
Текла через окошко синева,
И двор в траве, и на траве — дрова,
И старые часы неслышно били.

Текла через окошко синева,
Меня не торопили, не будили,
И старые часы неслышно били,
И снились чьи-то тихие слова.

Меня не торопили, не будили,
Легко шуршала мягкая листва,
И снились чьи-то тихие слова,
И кажется, о счастье говорили.

Легко шуршала мягкая листва,
И ветви до подушки доходили
И, кажется, о счастье говорили,
И книги не дочитана глава...

Состояние утреннего=вечернего покоя, чистого, как в детстве; пробуждение и засыпание; состояние ребенка=души у взрослого. Как ручка приемника подкручивает необходимую волну, поэт мучительно оттачивает рукой отводит прочие впечатления, отбирает только важное-важное. И не ясно нам, где же истинная жизнь: в стихотворении, там, до пробуждения сюда — или же пробуждение сюда и есть погружение в сон не в детский. "Умереть, уснуть, — и видеть сны, быть может?..." — что страшно!... — главный гамлетовский вопрос сдвинут от "духа кориться" к "не быть"; и уже варианты "небытия" рассматриваются, варианты жизни истинной. И по-западному-современному практицистского ответа, подсказки быть не может: все стихотворение — как бессознательное зарождение его, в миг рождения вербальности, в вербальный миг.

душного вздоха, — сейчас откроются глаза, и вспомнится свое имя, и возраст, и прочее... А душа, оказывается, по-древнему мудра, и еще до рождения (говорит поэт Е. Шешолин) мы знаем ветки, книгу, двор в траве. Потом будем делать вид, что не знаем, первый раз видим — стараясь забыть сон во сне, почему-то боясь вспомнить: здесь живя, в забытье удобней, комфортнее как бы не знать идеала.

Поэту Шешолину кошмарный сон — наша жизнь, и он медитирует Туда, но — надо спать, проснувшись здесь: не в астральной, но в нашей жизни; кроме меланхолического звона да, антикварной выделки, не имеющие никакого значения, — безумно бесконечно бьют часы. Нашего же времени нет, есть только абсолютное, вневременное время, в котором свои пространства, свои сферы, круги — где пребывают добрые помыслы и произведения искусства, — наверное — любовь, но в непонятном (нам здешним) состоянии, состоянии, которое пробует передать поэт, мучительно — по кругу — вворачиваясь в него, пытаюсь задержать неуловимое повтором. Но ускользает материя бесплотная, рассыпается, и стремительно сворачивается до точечки миг, — и все! — не успелось... Надо просыпаться в сон, в неприятный — либо страшный.

Далеко не каждый поэт(человек) такое болезненное расчленение себя-за-собой подматривающего — на атомы-малекулы — выдержит: не испугается ни ящика Пандоры, ни того-не-знаю-чего. Много смелости надо поэту Шешолину и мужественности духа — ибо здешнее бытие он познал, ибо от чуждости печаль. И еще требовался поэту Шешолину артистизм художника, требовалась мягкая лиричность характера, точность глаза и вкуса мастера, чтобы Неуловимое "выдать" в десяти строчках.

Известно, размышление о Времени — почти обязанность любого поэта. В поэтике Е. Шешолина эта тема столь же обширна, разработана, как и тема географических пространств. Именно в точке их пересечения он напряженно культурологичен (культура-Логос), на пересечении видит-строит страну своей поэтики. Эту точку пересечения поэт называет прямо:

...следов не будет, ухо не обманет,
и время за собой меня поманит,
и медленно уйдет походкою отца.

("Высокое крыльцо мне не забыть всею...")

Называет и в перифразе:

Речкой сонной и зыбкой
меж поваленных плит
бродит с тихой улыбкой,
все забыв, Гераклит.

("И в случайной одежде...")

Е. Шешолин подчеркивает наше всеобщее соотношение Времени(Судьба) и Формы — см. "обратимость" стихотворения "Одно рондо".
"Мая не торопили, не будили" показывает уже именно это, Е. Шешолина, работа в разработке вечной темы. Он знает диалектику — и по Гегелю и не по Гегелю — но не хочет ее, отвергая как не имеющую к личности никакого отношения. Когда вокруг рушится, полыхает, расплывается — его стихия становится вызовом целой устойчивой системе-цивилизации тикающих(электронных) часов. Шепотом, почти про себя, тихое-тихое "меня не торопили, не будили" поднимается голосом — одиноким пока — против. Именно не ор, а человеческий тихий голос побеждает, отодвигая жестокие темы, ласково уговаривает — не бойся, наоборот, — не бойся!..
... будто сама Поэзия отвечает поэту Шешолину благодарно: старинной стихотворной формой помогает выразить неуловимое состояние и размышление. Так застывшая физика дружит с единичным, ручной работы, изделием, так ласковое рукодельное стихотворение не холодит, греет, и прикосновением приятно. Так уже через год после смерти поэта ясно, что его стихи хранятся в самых метафизических, дольных сейфах: музейных, антикварных, личных. Звенят часы — его не торопили... Убитого, хоронили "в случайных одеждах..." А умирают не шутя, насовсем.

Старая мысль о том, что искусство должно нести радость — несмотря на банальность, безупречна: иначе нет смысла. Однако воплощение радости — многовариантно, всегда конкретно, лично. Стихи Е. Шешолина содержат много радостного света, но его радость не слепит, а ровно освещает изнутри душевным и духовным теплом, искренностью и мыслительным **непокоем**. Две газели из "Северного дивана" отчетливо указывают на его радостный взор. Причем первая отобранная газель отобранна за приглядывание поэта к дольным вещам, сегодняшним: разоренная страна, брошенные деревни, человеческое отчуждение и забвение всего. Стихотворение построено на семантических парадоксах — и в строке, от бейта к бейту, и внутри каждой строки. Свет здесь у Шешолина — как в ветреный день, неровный, когда из туч там и тут вываливаются лучи, снопы света. Но газель не тяжела, ее восприятие легко, как восприятие старинной сонаты или фуги, ее парадоксы от музыкальности, их лучше назвать семантическим контрапунктом вещей.

Вот и вырвалось Слово из города, словно убийца.
Вот и в мертвой деревне не дали бродяге напиться.

Проведите меня на ненужное, сорное поле, —
там я буду крапиве и дикому тмину молиться.

Ваши души — поверьте! — еще не пропахли бензином!
В небесах улыбаются ваши прекрасные лица.

Ничего, что завяли на ржавчине детские уши!
Никому напевает с отравленной ели синица.

Принесите смертельных пасленовых ягод в ладонях,
белены заварите и дайте бродяге напиться!

Поэт видит полный развал вокруг, но на грани отчаяния в отчаянии, как в грех, не впадает. Тмин и крапива у него — в значении людей совсем по-библейски — трава человеческая! Поэт успокаивает мир, его уверяет в наилучшем — "ваши прекрасные лица". И лишь в конце говорит о себе — готов пуще вас, люди, деревья, слова — отравиться: поэт все равно доверяет этому, дольному миру. Потому что есть другой, поэт знает, — и об этом, горнем, у него другая газель. С ней солнечный с безукоризненно синего неба. Но и здесь поэт по-прежнему изнутри мира — и, достойный ученик суфиев, незаметно скрывает, о ком идет речь, о какой Радости:

ИЗОЩРЕННАЯ ГАЗЕЛЬ НА РИМУ С ПРИВРАТНИКОМ

Этой жизни я совсем от любви не понимаю;
жизнь такая, что зачем от любви не умираю?..

Оказалось: ничего я не знаю о любви, —
только знаю, что не то от любви еще узнаю!

Только вспомню, — из груди рвется флейтой гортань,
ручейком бегу к реке, от любви пересыхаю.

Подкрепи меня вином, яблоками освежи, —
я, как разоренный царь, от любви изнемогаю!

В этой древней, золотой клетке, — словом, от любви
сладко снова повторять: "От любви!.." — как попу

Так на веру нет надежд, что в надежду веры нет...
По меньшей из трех сестер от любви изнемогаю!

Вера, Надежда, Любовь ("меньшая"). Оказывается, поэт блажит от ра

ти жить, от уверенности, что повсюду — Премудрость Божья, — вот о ком не лукаво, а зная дело, мудрствует поэт Е. Шешолин. Вот Источник, открытый в сердце поэта, лиющийся в его стихи!

...

35
Прекрасно ознакомившейся с литературоведческой и филологической научной литературой, поэт Е. Шешолин, конечно же, был согласен с Шиллером и Полем Валери в том, что поэзия есть игра. "Poiesis — функция игры... Если серьезное понимать как то, что может быть до конца выжато на языке бодрствующей жизни, то поэзия никогда не станет совершенно серьезной". (И. Хейзинга). Какая роль в эстетической системе Шешолина отводилась Игре? В какой степени категория Игры разработана идиостиле поэта — осознанно и неосознанно? Наверное, абрис поэтова лица будет нечеток, если не попробовать, хотя бы кратко, обозначить "задействованность" Игры в его поэтике. Если вспомнить, что "Поэзия... рождается в игре и как игра" (Хейзинга), и одновременна появлению мифа, что в архетипе игра влечения и отталкивания, или состязания (разнополюх, напр.), или игра в загадки-отгадки — и есть основа всякой поэзии и всех поэтов, — то сегодня на противоположном от рождения, от мифа, полюсе, сегодня, в век Номо-*ludens*, человека играющего, — находится наш авангардизм, и вообще модернизм. На этом краю автор прячется за ролью, за маской: "Я, гений Игорь Северянин..." или "Я Гойя.", либо же автор полностью растворен в игре ума — отсюда холодноватый концептуализм, а поскольку все же записываются стихи, то они — условность..., отсюда повышенная ирония, самоирония: поэты в игре-поэзии не хотят врать, не должны! — получается по разному... "Анализируя новый стиль, можно заметить в нем определенные взаимосвязанные тенденции, а именно: 1) тенденцию к дегуманизации искусства, 2) тенденцию избегать живых форм, 3) стремление к тому, чтобы произведение искусства было только произведением искусства, 4) стремление понимать искусство как игру и только, 5) тяготение к глубокой иронии, 6) тенденцию избегать всякой фальши, и в этой связи, тщательное исполнительское мастерство, наконец 7) искусство, согласно мнению молодых художников, безусловно чуждое какой-либо трансценденции". (Ортега-и-Гассет) Такой обширный пассаж лидера нового искусства; понадобился, чтобы в его тенденциях выявить присущие поэтике Шешолина. Пожалуй, только пункты 3) и 6) и лишь отчасти пятый подходят к поэзии Е.Ш. То есть категория Игры в разработках Шешолина далековата от понимания Игры в авангарде, его игра сдвинута к мифу, к рождению, далека от сиюминутности — ближе к золотой середине развития поэзии, ближе к экватору поэзии-игры. Ближе к традиции.

"Тенденции" поэтики Шешолина не укладываются в определения нового стиля. Какие же они? — прежде всего, у автора есть самооценки категории Игры у себя:

...Я счастлив, мне семь лет, я сам себя катаю,
но что-то смутно помню, что-то знаю...
Сейчас лежит такой же мокрый снег.

("Высокое крыльцо мне не забыть вовек...

"Я сам себя катаю" — игра. Но некое Знание, которое выше возраста тогда и сейчас, при написании — задача поэта, для которой при решении нужен инструмент — игра. Постулирование в двух строках. Поэтика Е. Шешолина относится к тем, в которых присутствие автора в стихах — обязательно. Стихи его — это исповедальная лирика, прикровенный романтизм, "трансцендентирующая" — по Гассету — лирика. Новаторство "нового искусства" для него — средство тоже. И основной приметой всей его поэтики, игрового в ней в том числе — является прямое присутствие поэта, автора в пейзаже, в интерьере стихотворения: от прямой речи до наброска себя рисунком — и потом поэт как

бы поглядывает на себя там, в стихе изучая, приглядываясь -- как там.

Так, поэт начинает "Газель про наш апрель" как бы обращением к не празднующих друзей, неких дионисийствующих по-славянски людей, телей изящных трелей:

Спой нам радостную песню, спой нам, лучезарный лель! --
В светлых хижинах в почете деревянная свирель.

И поэт начинает петь как бы для своих разухабистых народов:

От родных садов лимонных, от растений благовонных,
от вина алее лала, в голове -- хороший хмель!

Под конец песни певец начинает приторно-жалобно изображать позу кого бедолаги... После окончания же пения поэт опять же рисует сцену, может быть, так скандировали благодарные слушатели?... Во всяком случае, автор говорит о себе в 3-ем лице:

Кто теперь сыграет в шашки с нашим добрым старикашкой?
Жить ему осталось мало, но и он жует бетель...

На Шелошика, бывало, злая злоба нападала,
но всегда его спасала лучезарная газель!

...

36

Вообще отношение игровое /серьезное в поэтике Е.Ш. близко трактованию скальдов, менестрелей, миннезингеров, трубадуров: любовное соизволение с преклонением, площадное пение всем -- где возможен и вызов сильным наверху начальникам, где возможны "последствия", и отчаяние иногда скоморошинка.

"О тихий Амстердам..." (К.Бальмонт)

Ваши пальцы -- для рояля, Ваши пальцы посинели
(В парюмерном Амстердаме не бывал я никогда), --
ветер Вы переносили, на скамейке Вы сидели...
Только в зале, только в зале Вы пребудете всегда!

Лэди, лэди, деревенской Вы не терпите попойки,
и стакан червивой брати -- не для европейских дам!
Желтый вирусный осадок пью я на родной помойке
за Бальмонта и за лэди, за Париж и Амстердам!

Лэди, лэди, я -- хороший, и глаза мои -- больше;
это просто я куражусь, и слова мои пьяны...
Никогда я не поглажу Ваши волосы степные;
Ваши взрослые мужчины вдрызг степные и умны.

Но Марьяне, но Оксане в изумрудном Амстердаме
(Ты -- кизячка, где же лэди?!) соберу я свой букет,
и голландские тюльпаны зазалеют под ногами,
и мы будем в Амстердаме, что нигде на свете нет.

Здесь поэт весь "в образе", в игре -- и повествуя о родных помойках, он умудряется возвысить некую музыкантку, -- и рассказать про и про жизнь-бытьё, и намекает на свою принадлежность (не лыком шиты!) к пиитам, и -- не вываливается, не выходит из игрового пространства до коды. Но! -- в конце заставляет саму игру работать на усиление, достигая потрясающего эффекта чувственности -- сожаления, вздоха любви -- и печали: "и мы будем в Амстердаме, что нигде на свете нет"...

37

Эффектно использует игру Евгений, когда указывает на условность художественного продукта, его вторичность по отношению к жизни, столь важную первичность для движения души, когда он прерывает медитацию в стихотворении "Смотрю в окно...", как бы выходя из игры: "Ночь глубока... Я записал стихи."
 Так дети говорят: я больше не играю. Так поэт говорит, что он искренен — он не написал, он — записал стихи. Пришедшие. Прием выхода из герметики, выхода из игры.

Прямая игра выделяется в стихотворении "Праздник детей". Здесь все стихотворение описывает игру, и в сюжете поэт пишет Ее — она была как бы Земфирой, живописует их двоих, в игре, и размышляет об их чувствах; и вне игры, как автор — наблюдает за ними:

Это был день чудесных затей —
 в муравейнике детском; ты играла цыганку, —
 это был маскарад; ты водила индейцев-детей
 по муравьиной хвое сосновых полянок.

И в старинный бор был ряжен линейный лесок, —
 это шло вам. Меж сосен мелькала Земфира.
 Из-за облачных гор
 дуло ветром родного и страшного мира.

Разложи мне "косынку", — сойдется как раз,
 потому что давно нас с тобой подмешали,
 и вот — лишь свершается; потому что лето
 осталось в косынке твоей фиолетовой.

Только дети играют всерьез, потому
 что еще не соскоблена патина рая,
 и пока: лес не рублен, чудесно смотреть
 муравьев по сосне путь к небесному краю.

Игра любви, с переодеваниями, где ряженным — даже линейный лесок — и друг — самооценка игрового в поэзии своей, и оценка в искусстве и жизни вообще, потому что еще "не соскоблена патина рая".

38

Поэтике Е.Ш. не характерна игра на уровне морфологии: он далек от словообразования, от называния мира новыми именами, большой редкостью для него — пример из стихотворения "Там": "слепомудрое зерно".

Небо в недалеких звездах,
 слепомудрое зерно,
 розовый от ласки воздух
 и воздушное вино...

Но игра на лексическом и синтаксическом уровнях у поэта постоянна: сюжет, сюжет внутри сюжета, речевые сдвиги самые разнообразные — все характернейшие черты его "тенденции" игры. Внутри этих уровней приемы стиховой игры можно назвать.
 В первую очередь, поэт постоянно указывает, что мы, читатели, имеем дело с текстом художественным: поэт нашептывает, или изрекает, или насмехается, надеется, либо печалится — но обязательно как поэт:

...и я увидел
 ненужный вырез лепестка и цвет
 меняющийся нежно; он стоял
 уверенно, как маленькая рифма,

... среди гнилья какого-то, травы...

("Как попал сюда, зачем здесь жм

Еще чаще это свое право сказаться стихом поэт скрывает в гармон
эмоции -- только намеком блеснет рсминисценция из великих поэтов
бо Имя поэта, либо даже просто эрудиция специального, художестве
го ума: так что, само собой, бессознательно признаешь право вещать
кларировать, плакать и поучать -- за автором.

...Между Скиллой и Харибдой
по лазурному руну,
между правдою и кривдой
в затонувшую страну.

(Там)

Руно все же наемкнуло на Гомера, а автор изящно подчеркнул грече
а не римскую фонетику -- "Скилла".

...

39

Игра в поэтике Шешолина -- это сама художественность: в стихотво
"Во времена Хафиза и Хаджу" комичная бесполезность всяческих ре
или несчастий, или народных волнений по отношению к искусству --
том обозначается с иронией, и с некоей ботемной усмешкой гур
конца XX века, верлибром, -- применяя сложную тропику, используя
канцеляризм:

...Этнический состав **менялся, хотя и медленно...**

Урожай винограда по сравнению с Ахеменидами

под давлением объективных ^{неожиданно подскочили}
обстоятельств (разбив строк не авто

и речевые обороты используя:

...страна, собственно, была в оккупации...

Монголы, как всегда на конях...

Это как бы игра в ответ на уроке или семинаре-экзамене по истории
после понимаешь: по истории культуры, -- когда поэт завершает "он

Все это трудно найти отраженным
в творчестве Хафиза и Хаджу --
двух великих поэтов обычной эпохи.

Другой вариант художественной игры у Б.Ш. -- игра в контексте с
Первоисточником, игра не для показа эрудиции:

В чернильнице небес хранится слово...

-- игра с Кораном. Или с Евангелием:

"Или, Или! Лама сафхвани!"
Когда-то жизни просили они."

(Еврейское кладбище)

Еще одна примета игрового приема в его поэтике -- стиховое обра
ние к некоему собеседнику, явно отсутствующему: из прошлого:

Отец Златоуст, не добрался сюда ты...

(Пицунда)

или из будущего:

О, потомки в заоблачной кроне!..

(Письмо из котельной)

или даже с умершей собакой заговаривает поэт:

Султан, и за тобой пришли?

И ты, браток, не откупился?!

(Султан);

или же, посвящая А. Мицкевичу сонет, Е.Ш., намекая на первоисточник, заговаривает с собеседником поляка:

...Да не о том, ведь так, Мирза?!

(Бахчисарай ночью).

Шешолин даже к поэтической форме обращается -- это игра уже на каком-то 3-ем или 5-ом порядковом уровне, прямо в названии: "Сонет сонету".

...

40

Культурологическое мышление соответственно приводит поэта к самоотожествлению с автором, которого поэт переводит или перелагает, или пытается овладеть формой стиха иного канона. Так появляются мухаммады на стихи М. Кузмина, Вяч. Иванова, О. Мандельштама, Э. Багрицкого, на стихи товарищей-современников. Поэт играет и с социумом, когда в разгар Афганской войны пишет назирэ на стихотворение А. Пушкина "Гречанка верная, не плачь..." -- "Афганка, не рыдай, он пулю встретил грудью...". Самоотожествление, включение личного опыта поэтом производится и при написании поэмы "Абулькадир":

С моленья выйдя на крыльцо,
он глянул, и -- Его лицо!..

Опять в дыму, как в синем сне,
они сидели в чайхане,

И улыбался старый пир,
и к звездам плыл Абулькадир...

И -- пробуждение -- как пожар! --
разноголосица, -- базар, --

Прокислый виноградный сок...
Но дунул свежий ветерок.

Шешолин дарит поэту-мистику Абулькадиру Бедилю свой жизненный и мыслительный опыт, так -- все ближе приближается к мифу...

Пример игры-перевоплощения (когда поэт также делает шаг к мифу, занимаясь уже почти мифотворчеством) -- в стихотворении "Нецауалькойотль", ведя свою речь от имени доколумбового майя-этекского бога, используя редкую транскрипцию йетцалькоатля. Шаг от стилизации к мифотворчеству -- игрой художника:

Я, Нецауалькойотль, великий царь,
люблю шоколатль в прохладном дворце...

Долго ли пить шоколатль?..

Я, Нецауалькойотль, плачу:
все-то мои владенья
длятся одно мгновенье!

.....

Таким образом, поэт Е. Шешолин использует всю инструментовку игры художественной, текстовой, не эпатирующей внешне, но живущей по законам произведения искусства. Категория Игры у Шешолина -- вдали от тенденций постмодернизма, но ближе к изначальному, к мифу, тем не менее удерживаясь вдали от крайностей, от полюсов -- на экваториальных, канонических широтах. Опыт же его поэтики показывает, что сегодня возможны и интересны подзабытые варианты игры: укрытые в

художественном каноне. И что только для использования их, давно опробованных — не хватит одной жизни, а может быть — жизни одного поэтического поколения.

"Направления в современной лирике, которые намеренно остаются эзотерическими и главным в своем творчестве делают зашифровку смысла в слове, оказываются, следовательно, до конца верными сущности искусства. Вместе с узким кругом читателей, который понимает их во всяком случае знаком с ним, они образуют замкнутую культурную группу весьма старого типа".

◊ Й. Хейзинга "Homo Ludens" ◊

...

41

Хранитель архива Шешолина поэт Мирослав Андреев обнаружил предпологаемое Евгением название для сборника своих стихов: "Измарагд со Великой". Таким образом, Шешолин видел главный акцент своего сборника на стихах, посвященных Земле Псковской: именно эта земля стала диной его поэтического возрастания, и не выделить "русскость" его стихов — значит сместить центр всей поэтики Е.Ш. Эти стихи носят названия святых псковских мест: вот Выбуты — место рождения Св. Ольги сийской. В одноименном произведении автор сразу постулирует свое внимание русской красоты и смысла ее притяжения:

И — болотом — апрельский кустарник,
весь в небесных, весь в полутонах:
юность вербы, бузинный багрянец
и под маревом почек — ольха.

Не закрыта бездонная память
у седых валунов-колдунов,
но какие-то главные реки
повернули безудержно вспять.

Стихотворение "Псковские вирши" представляет из себя подобие синонима, где поэт поминает Святых — как Предстоятелей за всех "зде почитимых повсюду православных", поминает, своеобразно — художнически — Поэт надеется на них, а ведь измарагд — изумруд, а зеленый цвет — цвет Надежды. И за всю Землю Псковскую поэт спокоен — есть Предостели.

Заповедные берега за сосняком,
где тропинки кончаются только в другом, —
уютном? — нет, но от века знакомом веке.

Такое чувство, будто прозрачные веки
упали с очей, и слились таинные реки
в моей душе, как в Великую реченки.

Ольгина родина; в осоке родники,
ради широких дорог ничем не богаты,
спрятались для моей заплутавшей тоски.

И далее поэт поминает святые места, "чтоб в Великую извошла Псковаши!", и называет город летописным названием — Дом Святой Троицы:

Белый дом Авраамия. Стою у входа.

Никола, Евпраксия, Досифей, Никандр — святые, а "святость есть существо церковности, — можно сказать, что много его свойства и не существует" (о.Сергий Булгаков). И поэт молится стихом, он обещает

Княгиня Евпраксия бросила на счастье
скорлупку церкви, что ждет молитвы, в меня,
и я поставлю свой голос светлым в ненастье.

Да сможет блеснуть, как сталь озера, стих мой,
клинком Александра воспламенится голос,
в сердце да сохраню Досифея покой!

Может быть, не до конца познал, не всех назвал -- но ведь как подвиж-
нический дух необъятна тема! ...И успеть еще на вдохновении выдохнуть
оное -- Родине, ее Святым:

Снова тянет в леса чтоб еще послужили
мои слова серебристым мхом под сосной,
тревожной птицей вокруг гнезда закружили.

.....
И в глухом поле пою, -- под ветром колос,
моя тропа от шоссе давно откололась,
во мне уходит Никандр чащей наугад.

Тайные песни в низине души звенят:
слышишь, паломник любви моей? -- Значит, скоро! --
Уже вокруг тихо подпевают цветы.

Не прилизанный я мальчик века из хора,
дикие мои космы от солнца чисты,
таков как есть добреду по родному следу.

Проскачу по главной улице -- чуду брат --
и от ваших машин -- Микула свят! --
на цветущей палке моих стихов уеду!

Видимо, подробно ознакомился поэт с житием Св. Саввы Крыпецкого и хо-
дил паломником в безлюдное заброшенное место, где развалины Крыпецко-
го монастыря. Поэт, поначалу конкретно описывает путь туда:

К Р Ы П Е Ц Ы

Премного Богом отпущено славы
местам, где и лето посмотрит строго:
крыпецкая брусничная дорога,
ратные леса пресвятого Саввы.

Далше поэт переводит подвиг Саввы -- подвиг Духа -- в буквальный рат-
ный подвиг: как бы Савва забил -- хоть и молитвой -- страшного змея,
загнал в болото -- детскими "пендалями" или суковатой дубиной? -- по-
сехом молитв! И далее замечательная картинка, когда от святого непро-
лым поперся "бедолага"-змея, но Савва не отпустил его, а "дразнил и
бил"! И страшный змеяга страсти стал жалким и смешным.

Здесь он шел один на ящера страсти
и вырвал огненный язык из пасти,
а когда враг засверкал, как золото,
загнал чудовище вон в то болото.

И ящер напролом катился, бежал,
и Савва -- в ледяную воду -- за ним, --
и дразнил, и бил, -- никуда не пускал,
и осенний закат над лесом звонил.

...

42
Интересно, ведь стихи -- вершина айсберга размышлений поэта! Сколько
бродячих русских дорог прошатал поэт и уж точно узнал, что на пустын-
ной дороге Небо ближе, и чуял близость Бога, и слышал, как действи-
тельно "внемлет пустыня". Это очищение, катарсис, -- это русский пей-
заж. Можно пойти вместе с поэтом.

ОПИСАНИЕ АВГУСТОВСКОЙ ДОРОГИ

Солнце лениво скользит к горизонту,
в гору на запад уходит дорога,
звонко кузнечик приветствует вечер
в зарослях левой обочины пыльной.

Шире с горы блекло-синего неба
круг распахнулся, леса наслоились,
то зеленея прозрачною рощей,
то заповедною чащей чернея.

А впереди, за большими лесами,
где-то сливаясь с темнеющим небом,
сталью холодной под солнцем спокойным
серое озеро вдруг заблестело.

Две полосы: острова протянулись;
шпиц угадался рыбацкой церквушки;
если же дольше смотреть к горизонту,
солнце сверкнет на волне, как чешуйка.

В миг расставанья земли со светилом
в завтра себя я аую: вот -- я!
Лес подступает все ближе к дороге.
Красный закат неподвижно ярится.

Чуть посерело. Шагается легче.
Четкая чуткая связь со вселенной.
Справа над лесом дымок домовитый.
Молча под гору идти -- это счастье.

Гулкий ручей одинокий со сладкой
черной холодной болотной водицей,
первые робкие редкие звезды
и огонек недалеко деревни.

...

43

Мастер -- самый строгий себе судия, и своих детищ лучше знает: в номер альманаха "Майя", -- Избранного за 10 лет, -- Шешолин -- за ноябрьские до гибели -- помещает стержнем своей подборки именно "Четверостишия возвращения". Это произведение из восьми частей очень не для автора, программно: стихи трагические, нежные и мужественные, подчеркивают индивидуальность поэта, по силе обобщения убеждают его поэтику, в них поэт ослепительно использует всю инструментальность своей мастерской. Первый вариант "Четверостишия возвращения" создан осенью 1983 года, дальнейшей он правил его -- еще семь лет оставалось до ухода, но звучит как Реквием. И в этой длительности создания -- ничего страшного творческая судьба Евгения не построена по прямой -- вверх или вниз -- сторону, -- она замкнута в кольцо, она -- змея, кусающая хвост -- же "Одно кольцо", -- Шешолин Реквием исполнил заранее: в этом весь смысл его тревожности, провиденциализма и необеспокоенности. "Четверостишия возвращения" -- стихи, которые выдержат любое сравнение прилагая к творчеству Е. Шешолина, можно смело сказать: они -- это прощание с миром и оценка сделанного, -- его Бетховенские квартеты; Концерто Гроссо всей его поэзии и поэтики; его Воронеж и "Симфония". И еще -- это Армагеддон поэта Евгения Шешолина. В "Четверостишиях" все наилучшие силы -- внапряг, соки жизни заставлены соротаться, на миг творения поэт подключает свои и вселенские ресурсы -- "весь на духу", говорит открыто; все струны фокусирует до их разрыва -- будто бы уже инструмент не понадобится. В этих стихах поэт говорит: Я был -- как в иных стихах сказал бы о будущем в прошлом.

(+)
времени: буду убит, -- то нынче Промное-в-прошлом, и поэт говорит из
будущего: был убит. Но "Я был!" -- "Я жадно смотрю, как еще одно ле-
то цветет". Кажется, вся ткань "Четверостиший" воплощает ответ, от-
вет на тревожащий поэта вопрос, -- для чего Поэт приходил:

...и было дано: предо мною лежал материк,
и я не искал муравьиной тропы напрямик.

Строки не только о себе, но и о сверстниках, современниках и -- себе, и стихи становятся также поминовением времени. Понимаешь, что поэт, источник ритмического ветра, -- где-то там не просто, но -- у барье-ра:

Жил бедный подсолнух (Я должен, покойный мой друг!),
но с детства за грязной стеной был целительный юг,
и, как ни тянулся он шеей, как ни был упруг,
за крышами прятался солнечный суточный круг.

Ритм "четверостиший возвращения" очень жесткий, взволнованный, темпераментный до энергетического выплеска, но суровый: поэт начинает, и — не отпускает себя, от первой строки

Душа моя жаждет стонетъ, как сирень на ветру...

до последней

...и были на свете их дни и светлы и легки.

Поэт намагничивает, вызывает Судьбу, и говорит гулко, будто пропуская звук в сферы пространств, эпох, мысли — там вызывая эхо; и будто чтение стихов собрались послушать все собеседники его, все персонажи, а также города, и травинки, и птицы его природы — "и было дано: предомы лежал материк..." Не стихи тут пишет Е. Шешолин, но исповедуется, хотя исповедь его с гордо поднятой головой, — но не от гордыни — от честности. Сквозит навстречу чернота — поэт чуть прищурится: чтобы за ней резкий свет не ослепил. Поэт сжался до толчка крови из сердца — и приготовился, и будто уже видит с той стороны поля противника (Кто он, что?). И врагу сам показывается: Вот он я! — и готов исполнить предназначенное, и подтвердить предвиденное. "Четверостишия" — это "Яду на Вы" без оттенков западной трагедии, и не декларируя о "полной гибели всерьез...". Как жил — ненавязчиво другим — поэт начинает битву — сразу, без разведок, еще до написания будто приметив вполголоса про себя: Вот она ползет, тварюга! — без разведок — с противником известным. От лица поколения и от своего лица.

Но так как цветы разбросали вокруг семени...

...такое же сердце в груди беззащитной моей...

Познывает свое время и время своей нации:

На архипелаге Слепых верят в солнечный свет.

На архипелаге Слепых света нет, света нет...

...НО ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ, — важней, чем я ждал и быстрее.

Поэт силикает, что ли, на себя беду, собирает несчастье -- чтобы...
Чтобы осталось? -- или -- чтобы написалось?... "Четверостишия" трагич-
ны в методе, даже в способе их создания. "Возвращения" -- будто штыко-
вая атака надевшего белую рубаху солдата, когда назад он не придет.
Если сказать что эти стихи -- одни из самых мужественных, сложных и
тончайших за последние 300 лет, то Е. Шешолин, Евгений -- вряд ли бы
согласился -- из скромности.

стих лепный, величественный, мужской — 152 строчки с мужской рифмой, строчка широкая, как жест мечом. Возможно, в миг написания писавший и царь Леонид — и вся Спарта в груди: исход сражения ясен заранее, по смерти жизнь. Поэт еще раздает последние заботливые приказы, не оглядываясь: "...держитесь за всех, чтоб куда-нибудь не забрели..." "Четверостишия" — очень русские стихи: сдержанный бесконечный свет, антиномия слова/жизни — когда нежность и суровость — двумя

Р о ж н я т о в с к и й С е в а Великий поэт Шешолин
плечами; совестливая ответственность за всех, перед судьбой; азия
приобретенная черта характера, сделавшая славян русскими и ставшая
своею -- агрессия, направленная во-внутрь, и себя сжигающая, недо-
мая Западу; высокая обязанность в слове; и братская человечность,
брота: "Я рад, я люблю человечью свою конуру..."
Все эти черты, присущие поэтике Е.Ш., сосредоточены в "четверости-
возвращения". И еще -- классическая прозрачность стиха, и космиче-
орнамента, и горы-долы пения долгого и пластика деревяшки-по-руке-
ной, точность и жар иконописи, и личный взгляд по всеобщим лесам,
лотах в поисках точки отсчета, главки, вешки -- все приметы сходятся
в "четверостишиях":

С глухих пустырей, где в пыли вызревает репей,
из тех запустелых осенних скитальческих дней,
где церкви вокруг -- разворот голубых голубей
и город, приснившийся жизни летучей моей...

А вот и живопись XIX века тут же:

И эта дорога полей-букварей посреди,
казалось, кончается, но поворот впереди...

Пункты, параметры эстетической системы под названием Русская классическая поэзия в этих стихах присутствуют, и завораживают стихи, притягивают к себе -- как неожиданность. А вот пример антиномии -- при сущности стихи обладают волшебной музыкальностью (прямо "итальянский" Тюшкова -- да не сошедшего с ума, в конце XX в.!).

Вот лютик пробился из памяти, как из земли, --
как будто, надеется путник на встречу вдали.
Когда б не надежда, такими бы мы не пришли,
когда б не поддержка, не знаю, узнали бы ли.

Изысканная звукопись в ритмическом повороте очаровывает так естественно, так незаметно, позже замечаешь -- строки автора -- строки любящего письма, и.б.,...солдатского... Потому что это храбрые стихи -- не Пушкин вводит курок на Черной речке...

...я кочетом буду просить золотого зерна
рассвета, -- ведь ночь и вправду темна и страшна.

Это без таинственности. Русская поэзия -- тайна, которая есть. Туманом, буреломом наполняет тайна, бесконечно дробясь, -- землю, душу. Тайна ряда Человек-Земля-Ветхий Космос.

Луна осторожно ступает по лужам за мной,
созвездья дрожат, как всегда, над моей головой,
покрыты руины и сад черногройвой волной,
и легкой накидкой лелеет загадку покой.

"Четверостишия"

есть буря, битва за внешним покоем, это иконография "Бурю внутри имей", не на живот, нешуточная борьба, -- почти невозможно, не задохнувшись, понять, войти в этот ветер последнего рыка поэта, потому как он бьется сражением духа, уже над землей -- это Армагеддон. Поэт будто продолжает дело других, уходящих; кривается на них:

Сквозь призрачный дым по распахнутой лестнице дней
уходит с земли неподкупное племя людей...

И уже прорубается автор в пока неизвестные ему дали -- к "Троице" слева, что ли, -- к Премудрости:

Когда-то отмершее, общее сердце меня
коснулось лучами заката, набек осень...

И -- то былина мелькнет, то "Житие" протопопа, а то -- Лесков:

У каждого странника свой, непохожий рассказ,
но можно ль не внять стольким бедам, упавшим на нас?!
Нас поодиночке разбойник в пути перетряс,
и нас не скрепляло, как своды -- воздушный каркас.

...тор продолжает сражаться с невидимым противником, а стихи вворачива-
ют в круговорот новые сферы и силы, сражение многомерно и тяготеет к
многоличности -- где будущие поколения и до-история, пространство от ледя-
ных до сломанной сегодня ветки и -- до Воскресения.

Не я ли -- далеких эпох молодой человек?
Не я ли -- один из покрытых потопом калек?
Не я ли -- свидетель молоденьких северных рек?
Не я ли -- с обрубленной ветки -- весенний побег?

Светлые силы собираются вокруг поэта, он их раньше поодиночке величал -
теперь: общий сбор, в помощь:

Мне кто-то подсказывал тему, мне кто-то на миг
дарил ускользающий, незабываемый лик...

...казалось, весь мир задрожал под кантату копыт...

...забылся младенец, полуденным солнцем согрет,
и снится ему семицветный волшебный букет...

...ника, умение, все тщание переводов, восточных ритмов -- приходят на
помощь, прикрывая тяжесть:

...казался с восточного неба торжественный хруст,
но надо идти и во сне, хоть он сладок и густ.

...незаметно, как всегда, победа совершилась! -- но, кажется прободен-
ное сердца. Победительно:

...и вот серебритя так ясно и звонко с небес, --
и сердце щемит, как звенит колокольчик с небес.

Победное возвращение стихом, но, кажется, только припав на грибу коня -
возвращается к своим!

...в далекой шеренге, -- ищите меня среди слов, --
в фаланге кочующих к вечному солнцу цветов.

Позд победительно заканчивает монументальное полотно -- кисть в краску,
не глядя, можно сразу в нужном тоне, окончательным светом-движком: это
монументальная живопись души, фреска века беды, века стихов. Да, Силы
Ангельские с ним, но в нашей плоскости он один в поле воин, и за всех:

Не я ли один, как в пустыне у траурных вод?
Не я ли был свисте зачислен в несчастный народ?

Неосознанно в стихах проявляется образ женский -- некая женщина -- моло-
дая мать его? любимая? взрослая дочь?..

Теперь мы -- немного -- сирень, и тебе подойдет
лиловое платье. Прохладное платье метет.

Мини же это сама сирень, любимая, буйная, во плоти? Ну не Муза же -- хо-
тя что мы о Музах знаем? В устойчивой системе поэта Е. Шешолина случай-
ностей нет, не окказионализм это лиловое платье сирени-женщины -- скорее
глубинная семантическая заданность. Глубинная, ведь поэт не прагматик,
стихи это еще и один миг, оитва мгновения. Загадочная женская фигура --
опять мы ее увидим, когда -- опять же неосознанно -- уже триумфатором
во поле проходит поэт своим стихом:

День силился вырваться в полузабытом саду,
багровый порыв отразился в старинном пруду,
и вечер увидел в себе голубую звезду,
и мне по-другому увиделось, где я иду.

"Багровый порыв", цвет голубой, синий — это же цвета Покровительств
этого "несчастливого народа", цвета Богородицы: синий хитон, вишневый
мафорий: там, где-то в сирени — Она, Мария — ровесницей — помоги
ему?! Вот так Шелешик и приоткрывает себе и нам главную Музу и саму
Поэзию России — не устают нас радовать поэт, открывая себя.
И звезда на плате Ее блеснула.

...

44

"Четверостишия возвращения" очень архитектурны, то есть живописны
при духовной и архитектурной конструкции восьми частей-стихотворений
зорвать, рассматривать порознь невозможно: они едины и оплавлены
ром борения, откровений в мит создания. Любая строчка раскручивает
тер из сердца поэта. И гибель, и спасение поэту могут зазвучать
новременно. В конце или в самом начале произведения. Поэту удалось
дать ему симфоническое звучание, вернее, "удалось" — это искусство
ность — оно вылилось из него, вострепнулось, закричало горячее
тие к миру, к народу своему, к людям, которые вроде бы и не заметили
одинокую крика о гибели, и уверения о победе не узнали. А он в
мом начале "Четверостиший" просит за них, просит, — еще до гибели
и после, с правом требовать:

Но так как цветы разбросали вокруг семени,
я смею просить, чтобы мы пробудились от сна...

Поэтово "мы" — Там — за всех за нас предстояние. Можно быть уверенным
ными — уж натерпелся он здесь.
Последняя, восьмая часть "Четверостиший" фиксирует как бы разговор
их, — поэт обращается: "Скажи...", "Скажи..."... Разговор с кем-то
ри себя — или с Ангелом своим там, на невидимом, неведомом поле
Но эти "Скажи..." — будто поэт еще раз хочет убедиться, что его
ка правильна, что в расчетах подороже продать жизнь он не ошибся,
не зря был, что — получились стихи; иль, может быть, в этом "Скажи"
попытка вывести — хорош ли был удар, да сколько гадов пронзило
Или это мальчишеское, когда вместе просмотренное кино пересказывали
друг другу, перебивая — вместе же стреляли... вместе бились...

...

45

Осталось ответить на вопрос — что же это за Возвращение? — куда?
Преисполнена символических оттенков панорама произведения, но сейчас
трудно, без тщательного разбора, говорить о символике и многообразии
смыслов подробно, не избежав ошибки, но — Возвращение! — в первую
очередь, на поверхности — это возвращение стихов и вместе с ними
ности автора — к читателю, к людям; глубже — наверное, это мистическое
кое пребывание с нами в настоящем — будущем для автора, — это уверенность
ренность автора в материальности нематериального — мысли, стиха,
ва: это его Вера. И еще Надежда, что он смог достичь в стихе качества
которое останется и будет нужным людям, хотя бы единомышленникам.

...так будет, — я помню, и вот: серебрится с небес,
то сердце щемит, как звенит колокольчик с небес.

Надежда и Вера поэта в то, что удалось прожить, сделать судьбу своей
но Обязательству — по функции Неба. И самооценка — по главному
м.б. среди томиков потолка будет тоненький (не успел!) — его..."
далекой шеренге, — ищите меня среди слов..."

Но нет, скорее всего еще глубже -- в гуще корней, в самих словах слов-
ных хочет пребывать потом поэт, неким префиксом, буковицей даже: здо-
рово, если строчкой, редифом. ...
Еще один оттенок "возвращения" -- поэт говорит о возвращении как о на-
шем общем Возвращении -- "...чтобы мы пробудились от сна..." Поэт до-
водит до сведения читателя, вернее, передает свою уверенность, знание
о всеобщем Воскресении, а еще раньше о дольном Возрождении -- да: Ду-
ха, Родины -- поскольку перед ним был только архипелаг Слепых, в ко-
тором света нет -- и не видно было просвета:

...ударит мороз, заиграет пурга, -- подожди!..
Не видели мы ничего, ничего на пути!

Кстати, если говорить об архипелаге Слепых -- то невольно вспоминает-
ся А. Солженицын, если же о напряженности стиха со стороны формы, нас-
троения -- м.б. припомнится ранний И. Бродский. В любом случае, здесь
автор демонстрирует и знание Самиздата (в 1983 оба автора не в почете,
преследуются правозащитники, гнобят интеллигенцию, в разгаре Афган), и
небоязнь демонстрации этого знания. Хотя, конечно, в стихах нету речи
о кокетливости, просто, чем дышал -- сказалось... И Возвращение -- Вос-
кресение ему видится -- для него -- только посредством стиха...

...то знак, что в тебе мир над пропастью страшной воскрес..

Гармоническое единство стихотворного ветра "Четверостиший возвращения"
перемешивает все оттенки смыслов, звуков, ритма, -- это Стихи. Горько-
ватая тональность печали всей поэтики Е.Ш. придает им дополнительное
неуловимое очарование -- и трудно от горечи, но без этих стихов наш
конец века уже не понять.

...

46

Эту строку в начале "Четверостиший" поэт продлевает осознанно: "...
рассвета, ведь ночь и вправду темна и страшна". Ночь -- любимая им,
мечтательная, звездная, теплая, ледяная, наветренная, крутая, в тре-
вожных огоньках и напоенная ароматом растений, глухая или прозрачная -
Евгений Шешолин поэт ночной. Когда же речь идет об уделе, выпавшем ему
всем нам, -- то страшно: и жизнь одного человека, и космос личности, и
сложность взаимосвязи с миром -- здесь, в нашей любимой стране -- ни-
что не стоят. Мрак злобный, равнодушный, конечный, которому -- что
стихи! -- не только их, а и человек бы не было вообще -- только к
лучшему... И ничего -- до отчаяния -- нельзя сделать, ничего от тебя
не зависит, и быть дуриком, винтиком-шпунтиком, козлом-бараном значит
и быть "товарищем", т.е. полноценным гражданином мрака. Не желающие
проболтаться всю жизнь, думая "как все" -- т.е. никак -- и не понима-
ющие, что "надо лучше работать каждому на своем месте, товарищи!", --
эти не желающие или не могущие быдлом жуящим мычать под хлыстом, толь-
ко лотая-рогами-ушами-хлопая, -- "это же есть вражины недоделанные, их
не перевоспитывать надо, а гнобить!" -- и гнобят, изжидают со света,
то есть из тьмы своей крошечной. И ВОХРОВСКАЯ ухмылка в третьем поко-
лении. И всюду не монастыри центры культуры, но зоны. И вся страна --
Еврей. Под водой мрака, и нет деревни, нет мужика, убит язык. И папа-
на Гулаг родил Чернобыль, и заранее мрут дети. Кажется, конец близок.
Ничего не остается и зацепиться не за что. И не вырвется в Новой Па-
ластине крик: Господи!.. -- но так... по фене что-то... Единственно не
автономном питании (от Неба) кочевряжится Культура, но и она уже куль-
тура физическая, физичная. Зачем ты, поэт Шешолин, изучал фарси, пере-
водил с польского, писал стихи: тебя нет, и стихов твоих нет, и никто
не знает, что ты был, и стихов твоих не видел. Поэт Шешолин, зачем
твое Сопротивление -- ведь страшно всем, кто еще не безнадежен; и тебе

страшно, и мерзко, и по-детски обидно, что все-так, и тускло, и отягчение рядом в беспросвете ночи Мрака... Хотя вот — ты жив! но нет-бя, нет...

Но поэт Шешолин "неизменно" фиксирует в стихах и эту тьму, этот конец XX века, и, хотя и говорит, что страшно, но — но, открывая жом себе, — показывает средства спасения и просветления, целехонько в-забвении, — показывает творчеством, способом бытия, судьбой. Проворочит страху тьмы и ночным законам. В другой стране за его ориенталистические усилия, переводы, за ввод в родное филологическое море полнительной языковой, лингвистической струи, труд Шешолина выдвигали бы на премию какой-нибудь Йельский университет — но в России так замечают (да и Евгений не Паунд, разные они), а если заметят такое то череп раскроют — чтобы другим не хотелось инаковости, стихопле. И только в Чуде, в раскинутом над собой Покрове, в Силах Света ни миг не сомневался Поэт (разве лишь убить оставалось?!..). И не слушно в "Четверостишиях возвращения" восемь частей: День **ОСЫМЫЙ**, день **ИС ХС**, День Судный, День Вечный, и, по Ареопажиту, — все Чины Ангельские в нем. День Воскресный.

47

Жизнь, стихи, борьба поэта Е. Шешолина показывают, что духовная жизнь Руси происходит — и не на страницах нескольких столичных журналов "во глубине сибирских руд" и всяческой глубинке; что Душа как была не изменилась, но если эти мандарины феодальные и дальше будут сошествствовать медно-бронзовый век, а мы все станем внешние — то снос русской поэзии не будет, — лишь жизнь Духа продолжится — уже без ного художественного продукта — но в исихии, в молчании.

...Хотя потом новое Высокое Средневековье приведет к новому прорыву Рублевской "Троицы", — короче, для пессимизма нет причин. Так что жить поэтам у нас "...и страшно, и...смешно" (ст.Е.Ш. Тучи), все бе по кругу, "Одно рондо"...

Но если есть на свете совпадения, —
то мы с тобой уж встретились давно...

48

От многих условий зависит, внесет ли поэзия Е. Шешолина вклад в сность нашу, обогатит ли ее его уникальная поэтика, останутся ли зными усилия его поколения. Он, поэт Шешолин, слезен полнотой жизни, сопротивлением, и жизнью вне всего, кроме стихов, стихового мира, хового времени-пространства. Он ответил на многие поставленные или нет вопросы. Его стихи послужат ли нам?! Но если одно даже стихотвение — просто так, без ролей и значений, само по себе ценно — оно танется.

49

Несправедливый конец у его жизни? — видимо, на Небе дефицит чистых душ! — всё купи-продам претя, все утильсырье. Господь прибрал По к Себе? Пусть так будет. Нам не дано знать сроки.

50

...Это Россия — вечная; самая плотная Диаспора Евразийская, где рагаемся плечом к плечу. Заснеженная, чавкающая грязью и костями Пале на; народ славянский с судьбой иудейской — шаг вправо, шаг влево голове! Это — Россия, "здесь поэтов убивают" — табула над входом, тому как все ответы здесь — в воздухе и дыму Отечества — в родночи. Но русская культура своими великими Шелошиками да славна оудея

В майской голубой долине
 в голубой долине горней
 где взглядеться — столько сини
 нам сияние исторгнет
 что скорей всего напомним
 этот голубец огромный
 все персидские осколки
 бирюзу и коноплю
 а еще миниатюры
 из глубин Матендарана
 Прибалтийский холод ветра
 взрыв сирени поутру
 с чем еще сравнил бы Жеха
 голубое небо мая
 что теперь нас разделяет
 что шумит теперь над ним
 навсегда не занимая

С. Р. 3 мая 1990 года

Далее следует читать абзац 2-ой трактата, затем I-ый.

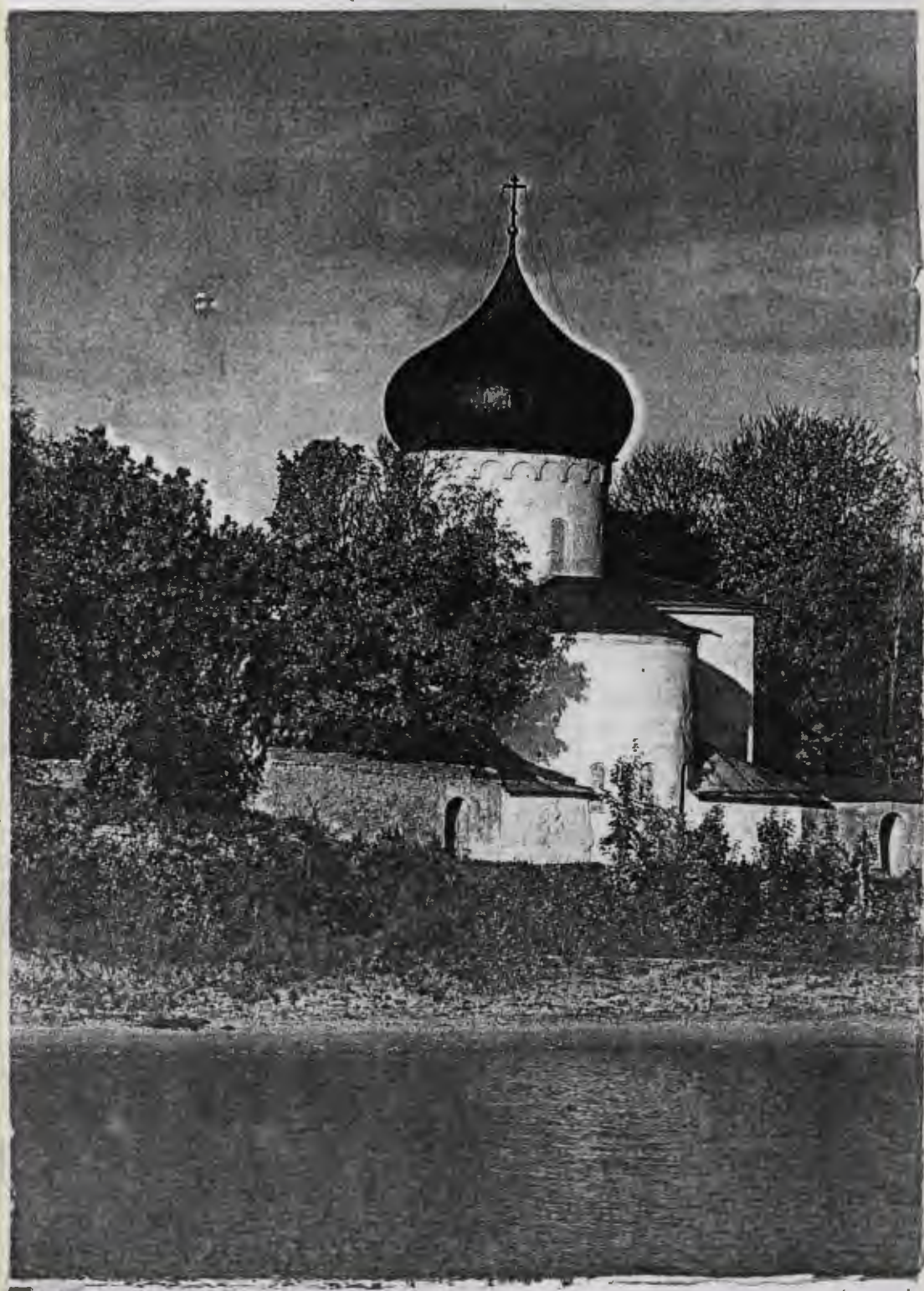
Остались — Слава в Вышних! — стихи и опыт. Жизнь поэта Шешолина — "как всегда, но в большей мере" и "достойно есть..." стихосложению Российскому. От наличия у Отечества такого преданного до конца стиху, скрупулезно точного, абсолютно-всеобщего и уникально-личного Поэта жива надежда, что Древо Поэзии не увянет. Евгений Шешолин мог бы жить во времена клинописных "здесь-был-я" — и газелей Реконкисты, и в пламенеющей готике латинских экзорцистов, в Теночтитлане "шоколатном" — и возле цокающих терм, дзвзясь фразками совизжалов или зарисовывая предложение в букву эпихи "Дзинь-дзинь"... Его сподобило родиться в конце XX века — спасибо Матери скорбящей. Откроем же его именем новую страницу списка многих русских "проклятых" поэтов — и чтобы над их текстами раскрылся Покров Богородицы — попросим! В конце века — тсячи — двух, — просто без лет: Поэт Евгений Шешолин родился. Слава Богу!

Октябрь 1990

Февраль 1991, 93

Г с к о в

+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0



ДРЕВНИЙ П С К О В Слиянье рек Мiroжи и Великой
СПАСО-МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ с ПРЕОБРАЖЕНСКИМ
СОБОРОМ XII века

СЕВА

РОЖНЯТОВСКИЙ

Стихи разных лет

Натюрморты

Праздники



Ж Ж Ж

На диной планете на дальней на невозвратной планете
В засытой деревне в деревне глухой деревянной
Болнистые срубы от моха синеют с утра уже вечер
В свете неизвестной зеленой стропила с конька отогнулись
Как весла засытой ладьи здесь оставленной на перекате

На сарказм избушки ладонь положи не услышишь
Как баска вздохнула к уснебью и дед пошатнулся из рамки
И ясли рассохлись и луч искорежил обложку
Лубочной скрижали из галактической дали

И красное солнце больное все катится и не садится
Сбегают туманы с него по утрам штукатуркой обойною пылью
Труха обнимает стопу этот выдох зовется ступенька

Пятно на траве перед ямой все что называлось крылечком
Под черною дранкою печка белеет у ней теплоемкость сердечка

На дикой планете в бывшей деревянной деревне
Зеленые чащи травы маскируют квадраты изъянов
Молчания чащи отравы трава разбавляет собою
Ни птиц ни кузнечиков там на далекой земле на ничейной

На дне у трухи непонятный шлагбаум споткнешься
Переступи обогни ведь на нем под гармошку сидели.
Увидишь немой хоровод ходят белые платья невинных
Свихнувшихся девушек яблонь их завязи жёлто глядят
И выплывает ставень под стук каблука берегини

Знамение встречному выдаст и сразу провалится в небыль
В колодце болотца невидимы звезды дневные
О пыли дорожной забылся траве не дающийся вздох
Былой перекресток околица миг расставанья

На дальней планете ненужной поэтому душной на нашей
В тебя смотрят нежити их разбудить не пытайся
Беги поскорее лети убирайся отсюда
Где есть только нети чей воздух смертелен в груди
Там нет никого ничего на планете гнилой деревянной

Чуть дольше побудешь и вирус туманом зайдет
И что-то размножится спектром вовнутрь преломляется свет
И не успокоится вирус туман пока зренье не съест
Придвиг отрицание многопланетному счастью

Я вне я чужой но я тоже бежал с той погибшей планеты деревни
И чувствую что-то осталось древнее забвенья заразой

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ

Осень, и вновь приведу к фляге с настоем трав,
Воздух спокойный пью, стану ж не пьян, а рад.

Верь во все подряд — это во мне звучит
Солнечный листопад, выше которого — синь.

Прелых заборов строй бархатный — криз, звучат.
С плоскости память: о, лес! — глазами सूचना корит.

В свеврах из глубины проступили домов утны,—
Как голубые дымы несслышанные церкви отплыли.

Здания в рыхлой пылице — свет вперемешку с листвою.
Прохожие вдалеке, как листья между собой.

Хор мальчиков, это кусты разноцветные на парад,
Чистой березой горя, над ними — хоругвь парит.

Мудрость осенних троп, где и неправый прав,—
Снова клубком в груди, ниткою торит путь,—

Мимо реки, где мир обратный наискосок,
Мимо далеких нив, где сжато и убрано все,

Мимо домов, дубрав, разреженных облаков,
Мимо угольников крыш в саду великанских голов,--

Вольный завещанный круг -- воздух светлее дум,
Пробуешь вкус как цвет, и внутри засияло вдруг.

О, равновесие масс -- фляга легка руке,--
Жизнь, будто челн внесло в осень -- календарем.

Флягу от губ оторвать -- как ввысь упустить весло.
И весело капли с него сыплются листьями вниз.

ж ж ж...

Нам дано умереть -- так блаженствуй, блаженствуй!
Воздыхай аромат дождевой и помятый,--
Солнце вылилось чашей, елеем одело
Купол мысли, хрусталь с пузырьками движений.

Тихо-тихо внутри -- пролетят паутины,
Прозвенит оперенье в прозрачной палатке,
Вербы двинут осла -- в пальцы нежное ухо,
Немс и невиновно качнется в лопатке.

Лишь очнешься на серный темнеющий ветер --
Свет придержит скуфья, темнота отшатнется,
И не тает хрусталь, и потир не ржавеет,--
Это жизнь, это жизнь -- ну признайся: люблю.

Мы идем от пещеры, хоть вовсе вертеп нам не читан,
Сосчитали ступени, и словом снимаем посты.
На высоком мосту две ладони, две встречных купели
Побоятся расстаться, и станут причиной: прости.

Есть тебе предсказанье, есть память, которая будет.
Ты плотай эти соки, ешь землю, залейся травой,--
Мы уже рождены, мы чисты как последние строки.
Так блаженствуй, люби и блаженствуй -- всего-то нам
сроку дано.

ж ж ж

Как фиолетовое море
в прибой зеленый опадает
ночное небо над волною
дерев подсвеченных собою

далекый гул стесняет город
уже уснувший неспокоен
уступами домов наплывший
мой берег каменный огромный

перед окном застыли краны
растения пустых каркасов
где кружит черную улыбку
железный месяц непрерывно

но от наветренного гула
льнет чернота и запах йодный
все падает за камень море
волной недвижимой и зеленой

Огромный зал, в котором паутины,
И — гулкое — заденешься! за что-то,
И желтый луч и шаг миллиметровый,
Бензиновая патина на стеклах —
Всегда кусочком голубого неба,
И в долгие Сахары штукатурки
Ведущие мягчайшие следы...
И сладкий воздух, то есть осторожный,
Вздохнешь — и где-то опадут мехи.
Огромный зал, в котором тихо-тихо,
Где что-то строили да видно позабыли,—
В котором навсегда оставленная осень,
Числа не помню, кажется сентябрь.

Когда обтачивает небо
чуть потеплевший влажный ветер,
и ветки спящие деревьев
обводят кисточками свет,—

и светит выпуклое тело
серебряным ковшом безмерным,
в который рожи вязь вчеканят
тончайше, хрупко и умело,—

читай полуустановы веток
между зрачками гнезд вороньих —
пустых отверстий для камней,
тех драгоценностей коронных.

Читай вверху свое сегодня,
чуть поворачивая небо —
и крон запутанную надпись,
и воды талые внизу,—

на льду, еще не половодья —
но уж стволы плывут по небу,
и ты в обратной перспективе
посередине вод стоишь,—

когда случайно поскользнешься,

запутавшийся в лигатурах
сучков, стволов и отражений,
под галочий гортанный стих:

откроется верховный смысл
свободы тела, не истома —
когда в душе раздалась тишь,
и мир раздвинулся к простому.

Обыденный невзрачный день
вдруг выявляет благородство
металла — неба, света — тень,
то русский смысл тебе дается:

стоять младенцем, глядя в небо,
в себе его спустив на землю —
серебряной безмерной чашей,
ковшом с чеканкою царя, —

уже овал печати видишь —
то Царь Небесный знаменует...
И сретенье уже так скоро, —
опять, в начале февраля.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ АПРЕЛЯ

Черемухи холодный запах
в раствор цемента заключенный,
упал на город серым ветром —
личиной гипсовой на прах.

Белковые дымы на крышах
растили ледяные горки,
юлом в улицы катились
автомобильные воронки.

Лицо бетонное серело,
прохожие волчки крутились.
Нам челюсти, как нож консервы,
пыль неуклонно разводила.

Все механизмы разломались
и не было спины для смерча,
портреты в окнах веселились,
не ведая причины смерти.

Осенняя трава свирепо
магнитофонной лентой билась,
на все четыре стороны света
забвение превозносилось.

А негативные сугробы
скрывали гены альбиносов,
остатки мифа охраняя —
круг, полумесяц, крест и звезды.

Тяжелая вода лежала.
Светило с ядерной накачкой
над лужею сооружало
блестящей призмой — дворцы:

О, безнадежные мечтанья
над плоскостью всеобщий модуль...
Самоубийцами метались
в ногах печатные столбцы.

Столбы, как модные ходули,
торчали истиной про свет.
Извилины деревьев — ум
в бетон холодный затянули.

Но безнадежно, безнадежно —
жжет полусвет и полутьма...
Фрагментом драгоценной ризы —
отогнутая корка льда.

Все механизмы разломались.
Бетонный слепок занял город.
Сейчас — какое время года? —
и стрелки колом на дворе.

Ветер грустный, как измена,
и не знает куда деться.
Над трубой дым — как платье
торопящейся раздеться.

Ветер об стены швыряет,
он невидящий и пьяный —
с тротуаров на дорогу
в лоб на самосвалы тянет.

Ветер обрезает шеи,
головы — в его подмышках,
Иоаннами на блюдах
все прохожие как будто.

Он от слабости упрямый,
он заискивает в лица, —
чуешь — боль витает близко
и от иска убегаешь.

Пахнет талой отравой —
заблудившийся неправый,
он у всех во рту картавя,
пахнет смертью и бравадой.

Вот из облачности низкой
солнца выдох на стекляшку —
бестолковой дворняжкой
ветер по двору шныряет.

А когда густеет сумрак —
ветер как пола взлетает,
вдруг почувствуешь, что пусто
там, где сердце билось утром.

Голый ветер с его грустью,
с необъявленной войною.

внутри влетел, и стало поло
от его любви голодной.

Вдох ветер, старым флагом
все качается, опальный
в город как в исповедадьню,
да Никто не понимает.

Беглый ветер, ждет соустья,
он уже почти что грабит,—
отчего же вновь не так все,
если ветер вдруг отпустит?

В голове плывут по кругу,
на дома упав, фигуры.
Ветер, как измена грустный,
мелочью звенит в карманах.

— * * *

Такая ветреная осень —
а листья все не облетают,
они лишь чуточку бледнеют,
зеленой темы не меняя.

На небе синяя пустыня,—
разгонишься — не остановишь,
так немо наверху, что в роде
с песчаным звуком вихрь стынет.

Светлее леденцов березки,
кусты просвечены до корня,
и в резком свете незаметны
неяркие рябины гроздьа.

Покажется — кругом неправда,
зеленой осень не бывает,
но яркой зелени лишь пуще
в траву и листья прибывает.

Где желтым змеем синеглазым
ползет холодная дорога,
и скат далекой крыши дразнит
отсветом озера глубоким.

И все привычные приметы
о, бес в ребро — октябрь сменяет,
уж отложили перелеты
развеянные ветром стаи.

Торжественно, свежо и странно,
прохладно от простой догадки,—
что между черным и зеленым

тот листопад остался краткий.

Что между черным и зеленым
гораздо ближе, чем казалось —
не требуется золотого,
лишь утренний мороз ударит.

Блуждает свет в зеленых листьях,
почти невидима разрядка, —
казалось, золотое блиско,
но — побеждают беспорядки.

■ ■ ■

Закатный длинный свет — как полосы дождя,
И небо стороной, и с холодом бетона.
Я не писал тебе, что проводы вождя
Частят, став признаком кремлевского бонтона?

Я не писал тебе последний анекдот —
Как предлагают разделить кормушку,
И кандидатов ждут — вот этот или тот,
Для телефона приготовив двушку.

А тучи ходят, падают дожди,
И каждый, дай Господь, — чтоб не последний.
Давно смешны чужие миражи —
Здесь дети выросли: болезный каждый третий.

И бедность не порок, а прошлая ошибка, —
Ворота крепости не знают, где же ложь?
Борьбы не может быть, ведь рыцарская сшибка
Не для барышников — для них стодитесь вошь.

А донкихоты нам давно вместо мельниц,
Хоть жернова пусты, но помнится — тяжки.
А пугачевы нам вместо рукодельниц,
Переименованы и Стенькины Челны.

И скоро, говорят, вконец снесут Атлантов,
Хоть небу — ничего, оно не упадет.
Вот Гракхи, помнится, — не занимать таланту,
А Рим ждал варвара. Ужель опять придет?

Я не писал тебе давно — читал газету,
Но ветер вырвал у меня ее, унес...
О чем же я? Дружок достал монету —
Но двум копейкам в горизонте — перекося...

С Р О Ж Д Е С Т В О М Т Е Б Я

За тебя — которой нет
И увидеть невозможно
Выпью водки
Осторожно
Погашу в квартире свет.
Отвернувшись от окна
В стенку теплую уставляюсь.
За тебя, стучится память
Мертвым стеклышком со дна.

У тебя сегодня праздник, Рождество
Конечно знаю
И желаю и желаю и желаю без конца
Я сегодня гвоздь программы
Скажешь это я в ударе.
Веселюсь и поднимаю
Тосты — выпьем за тебя!

Все чуть-чуть перевираю.
Пью, но не перебираю,
Чтобы четко все запомнить
Пальцы, плечи и глаза,
Ах, друзья такие душки
Интерьер, салфетки, плюшки
Свечи, елка и усмешка,
Брошка, тонкая струна.

Ты бокал поднимешь важно,
Улыбнешься, отпивая.
Мне внезапно станет страшно —
Так держала ты когда-то
Трубку что разъединила
Жизнь на после- и любовь.

Я тебя опять теряю.
Каждый вечер, каждый полдень.
Утром, ночью, ежедневно
Я теряю. Потерял.
Ну, а в будущем желаю
Счастья пишут все в открытку
Каждый день почтовый ящик
Будто сумочка без дна.

Славно было, ну конечно
Ты чуток утомлена
Я помою ну конечно
Вытру, вынесу, я — сам.
Я конечно, ты постой, подожди, не отдаляйся...
Дом как горб, как гроб пустой.
Гулкий сумрак, стенки саван.

На стене от фары свет
Проползает. Остановка.
Я в буфет стакан поставлю
За тебя, которой нет.

ПЕРВОМУЧЕНИКА АРХИДЬЯКОНА
СТЕФАНА (Из Праздников)

И так порывисто, легко —
что звездочки сквозь них блещут,
невинные как молоко —
облака по небу летят.

Так холодно, так неземно

Пыл к ненаписанным стихам,
дым из отеческого снега, —
как светел долгий полог смеха,
как долог млечный твой стихарь!

Душа по-ангельски легка —
в цепочки звездочек, позвякай!
И елка на земле, и мир,
и святки — помнишь, архидьякон?

Летит душа белым-бела —
о райский отсвет, о прощенье, —
внизу ни зги, во мгле дыра
и камни... А душа запела —

Не убивай, не бой — попробуй! —
товарищ, видишь проявление
на небе в облачении пепла:
товарищ мой, простить попробуй —

взмолился Отцу, звезде и небу
и облаку, что мчит воздушно,—
и все уже сегодня будет,
полней и больше — ну, послушай!..

Не зря от Рождества он первый
возле Собора пролетает, —
смотри, вот облако — наверно
снежное — не тает...

Из цикла
Н а т ю р м о р т ы

Т
И
Х
В
Я

ЖИЗНЬ

ДАЧНЫЙ СТОЛ

Горох зелеными телами
отображая бледный день, —
разбросан стайкою невинной
стручков с улыбкою дельфиньей,
что брошены теперь на брег.

Так в док заходят субмарины --
чреваты их, округлы мины,
и лепестки, как бы винты,--

но чаще сладок он, чем горек —
характер крепок, шарик легок,

ты в горке глянцевого гороха
всегда подметишь скомороха:
из дельфинариума — детям,
он на хвосте, и сальто вертит, —

горох галерой головаст,
и после смерти жизни даст.

А рядом клеется черника —
из хроники начала века,
где разгоняют демонстрантов,
и кажется — весь мир дрожит,
где разобрать не можно лица,

толпа безудержно стремится,
и сразу виден весь народ —
хоть стол наклонный все же врет,
и в каждой яголке живет
анархий черных красный рот —

ладонь, елико чернь подавит, —
история чернеть оставит.

И лишь кусочек на клеенке
не заполняется ничем —
светлеющий как наше небо,
шероховатый как вода,

и помнит: дождь, клеймо от чашки,
вино, засохшее давно,
и невесомость — лапок пташки,
и разговоры, их Бог весть.

Хотя фрагментами орнамент
заметен, даже очень ясно —
и кажется, на стол поставлен
предмет голландского фаянса.

Но — сумерки. Горох смутился,
и слился с темнотой зеленой,
черника мрачно бунтовалась,
и уголок стола светился.

ГОЛЛАНДЕЦ

Бокал во тьме не виден был,
Пока отлив не поднял ножку, —
И, на рубин подув немножко,
Открыл золою скрытый пыл.

Квадрат вина покой хранил,
Внутри огни тесьму вязали, —
На плод размякший обронив
Ожог перезреванья алый.

Силён, прозрачен водопад,
Застывший в ласковом бореньи.
То малахит, — времен творенья
Из недр выносит виноград.

И каждая струя округла,
А по движению удлинена,
И малахитовые жилки —
Обтянуты скользящей пленкой.

Но за прозрачным водопадом
Шевелится ночное небо, —
Дымится синий виноград,
Где звездочки — Адам и Ева.

Край неба молнией скривлен,
И море слабо осветилось,
Когда из черноты времен
Открыл забрало наutilus.

Вдруг колесо, стоит в надрезе,
И тяжкою цепочкой — цедра.
Так солнечным приходом цельный, —
Восшед лимон, и сладко грезит.

Иль купол храма золотят,
Но — незаконченный — ремонт.
Глаза уже уйти хотят,
Но ослепляет их — лимон.

В сегменте блюда полукруглом,
Как на часах, видны нарезки, —
Где грубы, ласковы и вески
Объятия мануфактуры.

ТЮЛЬПАН

Тоньше лезвия лепесток
Свистнет воздухом между губ,
И залъется порезом живым
Колкий и уязвляющий ток.

Зелень утреннего ствола
И молекулярную синь
Обнаженья волна перешла,
И оплавил — пластилин.

Алым кругом гудит полоса —
Розовеет бутон, шелковист.
В силе тока желаешь плясать,
И на меди — ноздрями повис.

Красный замок, пунцовый дворец —
Снизу глянцевого, сверху зубчат.
В его стены глазами стучат,
А ему все гореть — не сгореть.

Воздух атомами фиолет
Накопил и волну рассосал.
Я отпрянул — легко постареть
В алом свете на тысячу лет.

В синей комнате плавал закат.
Уже вечер, на простыни мел.
И бутон от гляденья устал,
А зубчатый кирпич потемнел.

Плотный пестик в потемках сиял,
И фонтаном недвижим звенел.
Мне бутон лепесток отогнул —
На подъемный мост приглашал.

М Е Й С Е Н

Как посуда из барокко, не отсюда, —
стукнув спело, а глаза зажмурив, —
выпуклое небо проскользнет.

И видения — после удара тока
Сил Небесных, в миг по исцелении,
и видения, которые потрогать
можно — на щеке их тенью — вздох, —

все предметы, все фарфору провернув
на пронзительность, на взлет и на излом, --
преподносятся тебе: цветной плафон,
где изогнуты богини в голубом,
и в спираль скрипичного ключа
звинчены пропорции фигур, --
где от щиколотки до плеча
по перилам вниз съезжающий Амур, --
в белой массе -- молоко или кефир? --
синим кругом грудь, под виц-мундир,
а в жилетку уже белая рука --
награждая ли? лаская ли? давя?

И — Андреевские флаги наведя, —
грудь поднимется, — глотком своей страны, —
воздуха тугие паруса,
чистые рубахи — сохранив.

Как проставят на все донья вдалеке
синие скрещенные мечи:
и — черемухой холодной закипев,
кружева взошли, сезонам вопреки, —

все летят передо мной -- назад,
линии ладони остудив --
снежности, и таять не спешат,
выдувая губки из ланит, --
и летят в глаза, к себе -- назад
пелеринки, сброшены вчера,
ленты в супницу ненужных париков,
букли гнутые на крышке -- до утра...
Где развязанное для внезапных действий
декольте, распаханное вдаль --
перезрелость непролитых двух дождей
всем покажет -- в пухлых облаках.

Уподоблено тончайшей сетке риз
ручейка на животе Няды,
небо заплетается, блеснит,
из пунктиров составляется орнамент, —
хоботы, цветы и паруса,
чистым небом — проявляется эмаль,

$\frac{0}{0} \cdot \frac{0}{0}$

[illegible]

+

+

+

+

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

䷊

[illegible]

серебряная как латынь,
горчащая как миражи.

Букет имел свое запястье —
ручьи кирпичного в зеленом:
то конский щавель беспристрастно
вскрыл вену, смотрит удивленно.

Где одуванчики: 1(молочный —
пропеллером у самолета,
2(Апостол — желтый: озадачен,—
там отслоилась позолота.

У трав сословия свои,
не знаю потайные списки:
кому? — резные васильки
навешивают крест Мальтийский.

И длинные усы торчали,
и раздували щеки зерна,—

Бореем дул в старинной карте
ячменный колос беспризорный.

Там колокольчики синели
дугою в небо — выше, выше..

В воротничке студеном стыла
крапивою — Марина Мнишек.

Лопух набряк грозовой тучей,
мать-мачехи листок: уж сутки...
Как верстовые номера
синели мелко незабудки.

Такой букет соорудили
на стол, в безлюдье перемшелый,
что облака в обход ходили,
и травы больше не шумели,—

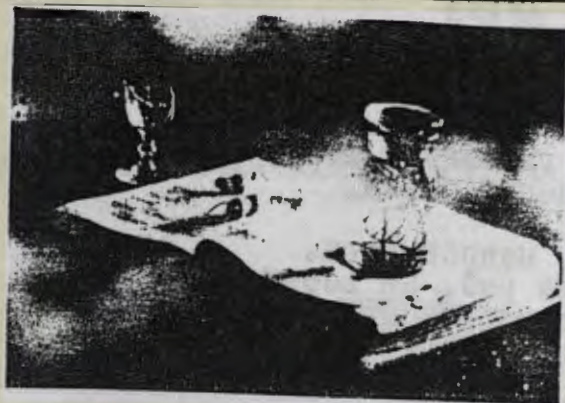
букет в стакане — из трибуны
со старой фрески столп
и столпник,
в нем прозревали мысли втуне,—
я их не знал, а ты не вспомнил,—

когда притихли: дикий фетиш
царил над вечером пространным,
по величайшему из прав —
остаться, жертвенником трав,—

а вспомнишь в городе — осанна!..







ДЕТЕКТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ

Всем оставаться на своих местах! —
И вещи гирьками застыли на весах.

Лишь вилка извинительно звенела,
Что ты совсем немного ех ела.

Вот лампа, как большой криминалист,
На хлебный нож пускает фотоблиц.

Его за рукоять ты подержала,
Им снежные бутоны охлаждала.

Дно блюда окровавлено вареньем —
За круглый идеал всегда оно в борежье.

Одна в другой тарелки свято спят —
У них салатница под боком, как дитя.

Фаянс потрескавшийся чайника посверкивает
Как старичок — все помнит его зеркало.

А я, до вечера — сам расставлял предметы,
Чтоб ты на них оставила приметы, —

А я надеялся — обилью ужаснешься
Следов оставленных, — руки моей коснешься.

Надеялся — присядешь здесь надолго, — но
Ты ушла, я убираю с чувством долга.

На счастье мне пускай не разобьешься,
Сбежала — разве памятью вернешь тебя?..

Остались от невидимой печали
Спиральные незримые печати.

Все увеличивает круглое стекло
Узор клеенки — где я вздрогнул, и стекло.

Увы — предметы на своих местах.
Свет потушу, от яркого устав.

Спираль из лампочки кровавым накалится.
Я вещи трогаю, еще свиданье длится.

АРБУЗ

Он покатым Ванькой-встанькой
Покачается как море.
В полосах глубинной тени
Сам — зеленый океан.

Глянцевый, непроницаем.
В зелени ни рыб, ни весел....
Вдруг — поверхность: розов, розов!
Солнце и в бурунах — весел!..

Алые валы под пеной, —
Он губам соленым рад,
И губам кровавым сладко.
Вдалеке видны прибой —
Берег, круглый горизонт.

И полно на океане
Кораблей — галер и шлюпок,
И наверно — параходов,
И конечно — белых яхт.

Семечки плывут по морю,
Туфельки и сандалеты...
Порты сделай им и бухты,
В корку глубоко вникай.

Океан утих, стал ниже,
Мельче стал отлив, быть может.
Друг за дружкой, как на отмель —
Волны, корки возлежат.

САКСОНСКИЙ СЕРВИЗ

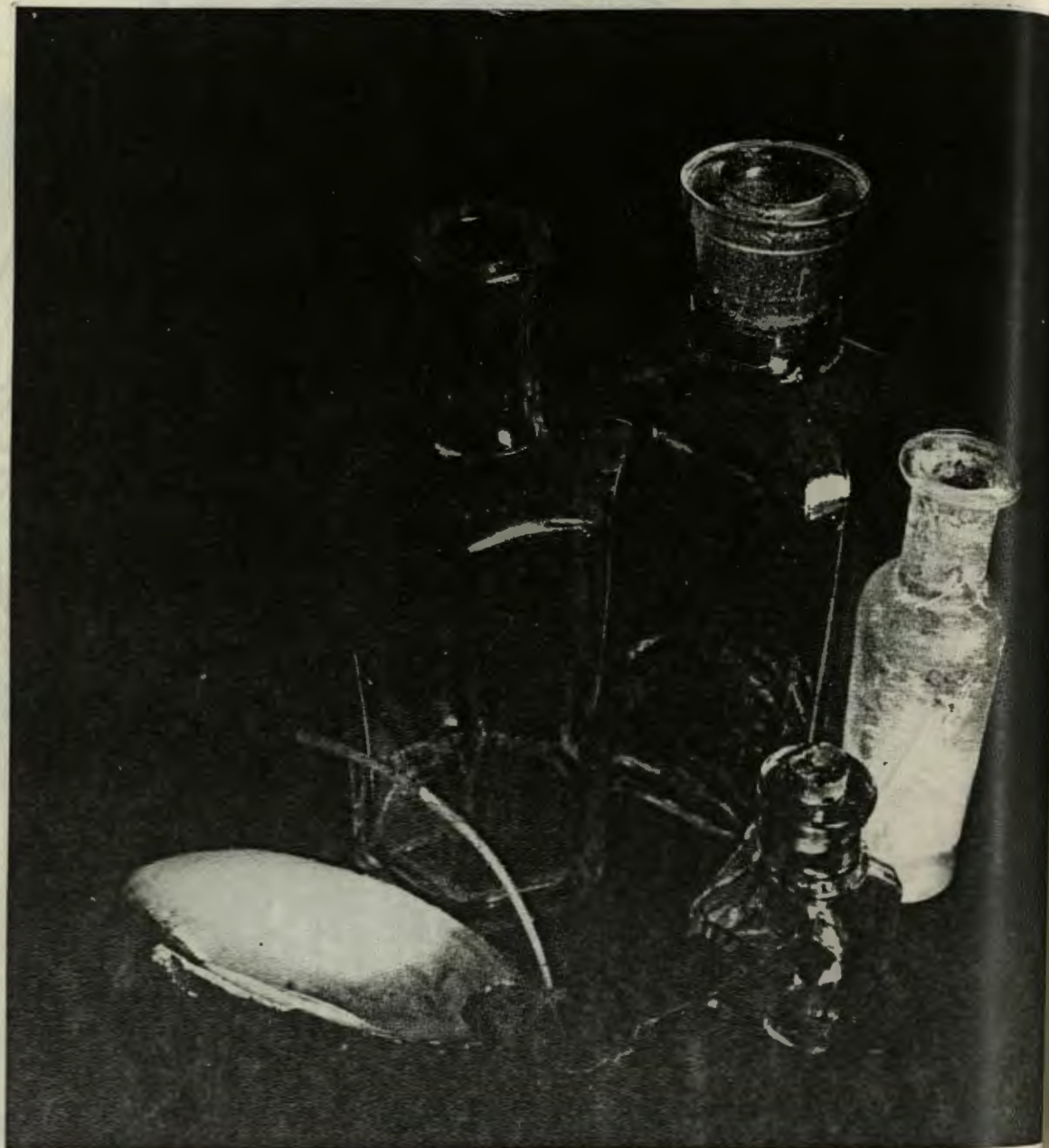
Волна упала и ушла, зеленый водопад исчез.
Осталась пена, что — шипя, находит формулы веществ.
Находит формы естества — встают предметом за предме
Нежны и утяжелены — скорлупки вставшей из одежд.

Но сохранил материал — покатошь плеч, запястья, т
Перебеганья живота, скольжение света по бедру.
И проявился перламутр: мел раковины и бензин,
Металл на соль — края взбесил,
Из-за лопаток завитки, застыли — это проплыла
Европа из далекой Сины.

И вот придворные нарядно
На каждом блюде и тарелке —
Хоть мелок человек всеядный,
Промолвить слово все ж сумел он.
Так лампы, тяжелея, пышут —
Уже забота сквозь усмешку:
Модель Земли с вальжной крышкой
Соединяются успешно, —
А ручка сбоку — для удобства, —
Изогнутая из притворства.



(((((



Планеты кофья и страсти, планеты вкусоности и чая
Содвинь нечаянно — наступит
Звук между ними часовой.

Тогда настанет час беседы, причудливый
и наливайный...

Глаза еще недоисследовали
Фарфора меновую тайну.

Тарелки вкладывай в тарелки,
И расставляй круги волнистые, —
И сразу луч забьется в сетке,
Начнется стенок пересвистывание.

Такое света уловление заложено в чудной локатор, —
Что вечность — на боках покатых

Не будет света представления.

Лишь непрерывное движение, двояние и умножение.

Сервиз — как шахматная партия: хотите ль, нет?

Возьмите это.

Всей чашки — дно до окомка.

Забился родничок из блюда

Волною золотой и бойкой —

Размером с детский поцелуй.

Опустишь чашку — ухмыльнуться?

Происхожденья не уронят.

Тарелка, чайник, чашка, блюдо

Стоят на голубой короне.

Вершины крышек на предметах

Вспоминают о дельфине, кручение уса на параде,

О заусенце виноградном, — вершины крышек...

Но удобству

Воспоминания не мешают, —

Все ж груди здешнего двора

Плафон овальный украшает:

перед кустом секретничают нимфы
конечно о мужском секрете в тесте
из-за куста малыш, лукаво зная мифы
подслушивает — и уносит вести

А сценка повсеместно повторилась

Мельчая в зеркалах дворцовой анфилады,

Уже забыв, о чем там говорилось,

На самом малом — штампиком белья.

Что? — сила августейшая особы —

Бессилье, если выше только Бог, —

Тот скульптор медленный, чей вздох

Для пустяковины — основа.

Так впечатление волны

Две сотни лет хранится в форме.

Скорлупки вставшей из воды

Все помнят о тогдашнем шторме.

Увы, когда-нибудь так не помянут нас —

Алхимия, любовь, фарфор де Сакс.

из цикла

П Р А З Д Н И К И

+++++

КРЕЩЕНИЕ

Сколько воды протекает с тех пор во тебе, Иордань, —
о, Иордан, вспомни — ударами сердца, как вспять поднимаются
Во Иордане! — когда подрастал С-нами-Бог, —
линии берега — о, кардиограммы свободы. ВОДЫ

Режутся молнии, ты поднимаешься вспять —
лаской прозрачной одежды на чуть угловатое тело.
Но подрастает Младенец во одежде твоей голубой, —
руки едва разведет на примерке, едва поднимает:
видно, как малы одежды, мгновенье еще погода.

Там, где две молнии берега встретятся, с краю земли, —
вдруг — уже жмут рукава, в речку не помещается тело:
там возникает Лицо, замыкая водицу и небо,
так возникает Чело над границей небо-земля.

Воздухи — только тогда лишь — славу запели,
пелены для вытиранья, но мужа — по небу летели, —
а в накаленной пустыне — так вербоно — стволы заплели —
в топографической карте — деревья: в пустыне бутоны распухли

Это тогда лишь: порывистый, кудри-огонь,
с телом акриды, а в мышце разлит дикий мед —
но скрупулезней акриды — кропит над твоей головой, —
трижды Тебя утопивший, и трижды рождая однако,

сосредоточен, кудлатая голова, —
Он на своем берегу, но направил, устроил пути, —
вон на ладони елей, на руке, на коре обгорелой —
ну же, покайтесь! — уже и секира у древа.

И вот когда Он отводит ладонь с головы —
небо раздвинется, небо откроется к Сыну,
и протечет неземная вода, твердый свет, —
и на мгновенье, пустынею — время застынет:
нам Просвещение, крест накрест, отныне, над нами.

Встанет в купели, шагнет за моря из ручья, —
время расти, где Ровеснику — умаляться:
вспомни, Младенец, купель — холодна она и горяча.

Ну, а пока облака подлетали и тело обтерли,
и в некоей музыке длилась небесная течь, —
горький ровесник, Предтеча — мгновенью еще не истечь, —
в корне топор, омовение ног: всё — не он ли?

В это мгновенье, где эхо идет от земли —

бурые молнии берега, в желтых обводах: замри! —
в струях воды, у мизинца ли правой ноги —
маленький дядька, с песочным ведерком, с бадейкой

булькал, плескался, туда-сюда переливал —
струи вокруг разгонял голубым ветерком и теченьем, —
стар будто мал, и мурлыкал, что он — Иордан:
имя такое у дядьки, и может — в крещение? — было.

Х Р И С Т О С И САМАРИТЯНКА

Я простая девка, самарянка —
Пятеро мужей на мне крутились,
Да и нынешний не муж, а просто парень.
Воды амфоры моей все испарились.

На колодезь Яковлев взлезая,
Я обычно посижу, опомнюсь.
Горстью капелек свою судьбу омок,
Губы черствые — в прозрачные вонзая.

Вдруг чужой: чудной — спросил напиться.
Я качнулась — грязная, чумная —
От моей посуды не отмыться.
Он сказал: что Он вода живая.

По устам его она звенела,
И в меня легко перетекала —
Чую: девственное снова стало тело,
Грудь упруга, бедра гнуться спело,

Дёсна соком, ноздри маслом свежи —
И душа, водой журча, запела.
А одежды облаками в тихом небе
Поднимали — хоть лети вся в белом.

Как сказал Чужой: вода живая
Из меня источником забьется —
То почуяла — вскипают роднички,
Золотой песок на дне мешая.

Где-то в сердце у меня, внутри
Лепетал ребеночком сначала —
Битым мной, убитым — самарянкой.
Я как девочка к руке пошла — Он Свой.

И потом бежала и летела,
Обезумевши от влаги фимиама,
И на площади танцую, что-то пела
О прищельце — звонче струй фонтана.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Он велел приготовить Пасху,
И мы взяли ляпис-лазурь вечернюю,
скатертью занавесили арку входа Ерусалимского —
и, мальчишками по-над заборами
полукругом вверху разместились;
когда снизу Петр крикнул: Идет! —
сбоку вышел к столу Учитель
и прилет.

Он подвинул чарку подальше,
и не взглядом, а так — мановеньем,
по прямой от себя до Петра.
Он рукой сверху благословил —
и внизу началась обедня.
Мы, боясь пропустить что-нибудь —
почти лежали на арке грудью,

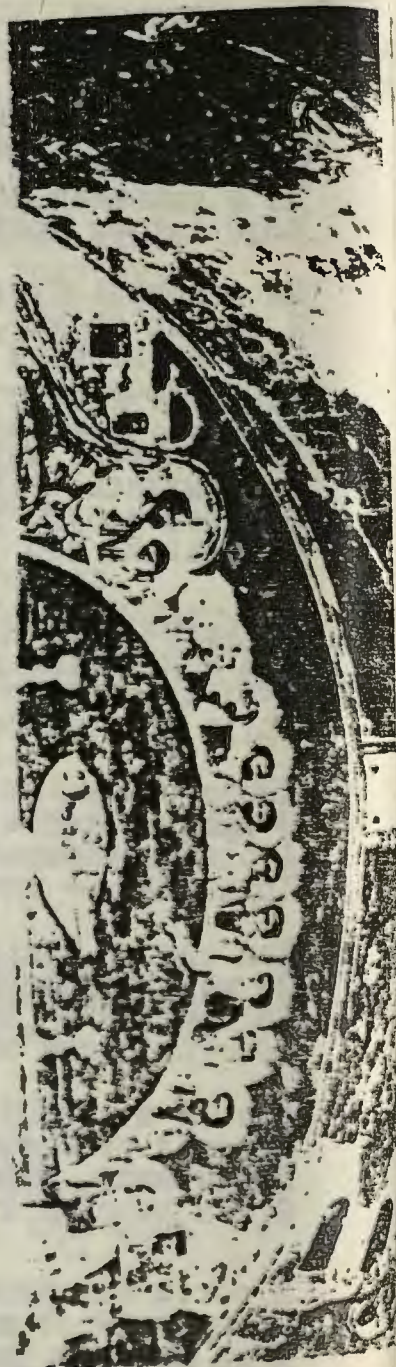
когда в центре стола — света тень,
чешуя заиграла ртутью:
будто глаз посреди полотенца — там
огромная Рыба взошла,
уплотняя небесную синь —
рыбина не поглядела на нас,
но спросить ее разве осмелишься?

Лишь тогда увидали Отца
у стола на лежанке заправленной,
в теле Сына в оправе Слова,
в оглавлении тишины:
Свет Лица.

О том глядела на него Рыба,
лишь ему улыбаясь знакомо,
знать, о чем-то близком и давнем —
всем, о чем у них было, но — Там.

Стол наш — арка, скуфейка, купол,
золотой обвод синей ткани —
синий камень вечера в нем,
и, чужой рукой — трещина в купол...
За Петром виден красный дом,
за Учителем светло-зеленый, —
мы все вместе на арке живем,

много-много нас, жаждем в истоме:
но уже все готово — Приидите!
там, внизу, у престола где-то —
примите, ядите снова и снова
кровь и тело Его Завета.
Равви, Пасха Твоя готова.



ОМОВЕНИЕ НОГ

В полутемной комнате воды — с искоркой бегущей, наливал
в умывальницу, и там она вскипала,
белым цветом в берега взбежав, а потом уж —
и уже серебряной была. синюю казалась,

В полутемной комнате бутры, глыбы камня, вздыбленные горы,
груды щебня и пустой породы, руды знатные и
лавы короблённые — тени света на исходе дня:

восседали, отдыхать пытаюсь, — воздымались, выше
и выше,
возвышались, головы губя... тихим словом — горы
подвигались, но шептали всяк — меня, меня, —

когда встал Учитель, снял одежды
выходные — голубого дня, верхние —
и в комнате померкшей
желтой строчкой осветил хитон
лица спорщиков — как солнце кражи гор, —

и в материале распалялся
ровный, золотой, счастливый тон, —
вот — уже, как слиток налитой — снял одежды
этой, здешней жизни.

И Учитель полотенце взял — белое, вокруг золота темнело:
нет еще на стигах серебра, —

препоясался и подступил с долины
к темным кражам, к вспученным ногам.

Там, за темной пылью, за коростой,
в пропастях, в ущельях и подъемах,
в лишах, в мозолях, на стопе —
Он провидел: ссадины и резы, и ожоги,
и торец гвоздя, —

и шептал им — больному не больно,
и шептал — ходите по Господним,
и пусть ноша будет вам легка.
Будто матери — младенцы, — были ноги:
омывал их, что-то ворковал —
и молочными тогда виднелись ноги, —
Он их полотенцем отирал.

И смутились все — не раб убогий, —
золото — в потемках царски, отче —
изливалось бликом на челе
вытиравшего: уразумеешь после.

Не умоешь ног моих вовек, —
нас не отскрести, не подытожить,
мы всю грязь вобрали, и ничтоже
сумлеваясь, любому отдадим — вроде губки
поры нашей кожи —

вот бурдюк с дерьмом: се человек.

Наше абсолютство в том, что нет
 ничего, что нас могло бы замазать:
 мы же пачкаем и самый белый свет
 кила вечности, фекальное фекалий,
 возгляни скорей: се человек.
 Не умоешь ног моих вовек.

.....

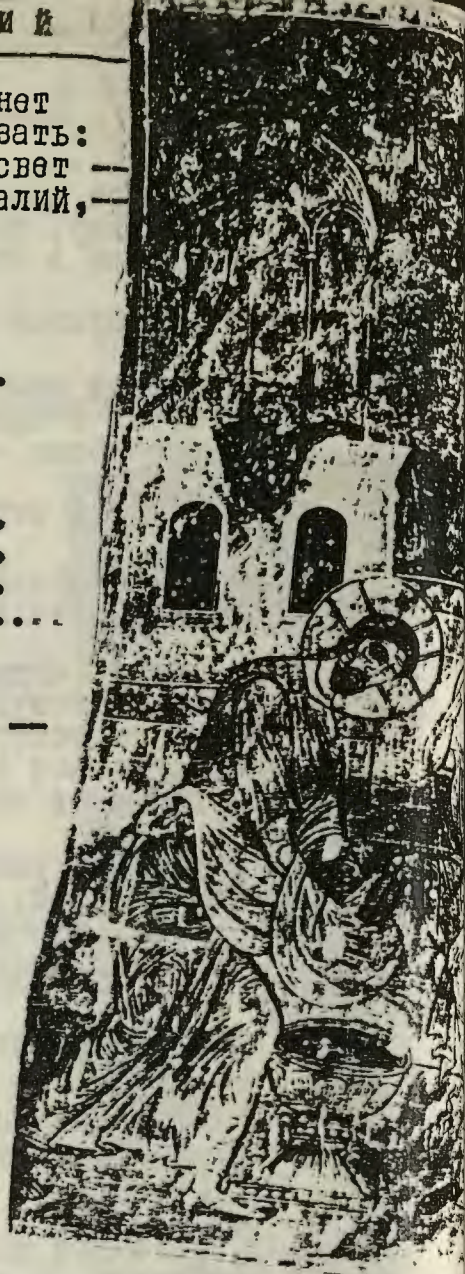
.....

...Но омытым светлюю рекою,
 выходящим на свои берега:
 только ноги, только от песка... —
 жается, так смысл воротился.

От виска — ступня позолотится, —
 в умывальнице качалась река...
 И очнулись — воздух быстр и свеж.

В темной комнате кончавшегося дня
 золотые молнии дробились
 нитями улыбочивых одежд —
 омывающего нас Царя, раба:

ноги омывает нам Учитель.



УВЕРЕНИЕ Ф О М Ы П О В О С К Р Е С Е Н И И

Печаль, когда не прослезиться, не возроптать и не припомнить —
 Нам каменелось в гулком доме, и темнота входила в нас.

Гурт безначальный — мы теснились, и прятали в груди идею,
 Глаза нет-нет, да проследят — запоры на дверях, крепки ли.

Затворены от иудеев, готовы встать под их приклады,
 Огня во тьме не зажигали — но думали не о судьбе.
 И всё смотрели, как чернеет провал двери на зычный сумрак,
 Печальный вход в свою могилу указывал наш рабий зрак.

Когда вдруг двери замерцали — ударом сердца и шагами.
 И гурт подвинулся, почуяв — шаг Пастыря: он где-то тут.
 Уж ровным золотом горели холодные входные двери —
 Маяк, сияющий в ночи, и мы подножье обступили.

+ + + + + + + + + + + +
 Когда один из нас очнулся, засуетился, подбирая
 + Ключи к запорам, и отмычки, их в скважину засовывал, — +
 А Дверь окладом золотым навстречу ласково сияла,
 + И мир дарила, и — Бог с ним. +

 + Входили — Дверью — в ярый полдень, +
 Лоб золотой пылью наполнив,
 + Встречаясь с теми, кто — любим, +
 Встречаясь с истиной — так просто +
 +
 Входить царями в твердый свет:
 + Пока один из нас, подросток — +
 0 Смотрел, как золотой коростой покрыты пальцы, что влагал +
 Он в скважину замка — напрасно. 0

Так мы открылись, лишь войдя.
 Так мы вошли, лишь открываясь,
 По Царству Божьему скитаясь в зените будущего дня —
 Слепцы, блаженны — не увидеть, а знать — тем преодолевая.
 Ах, перед Дверью до сих пор один из нас ключ подбирает,
 Влагает, верно удивляясь, что пальцы в золотой пылице.

